

Ефим ГАММЕР
(Иерусалим)



*Невольный прелеп Пушкина,
или
Царь Иудейский*

(повесть ассоциаций)

1

Когда мне было чуть более двадцати, коллеги-журналисты называли меня «старик». А перешло за шестьдесят, давние приятели, в особенности боксеры, покинувшие уже в отличие от меня ринг, стали именовать Фимочкой.

Парадокс? Пусть парадокс, но он дает возможность заглянуть в тот отрезок времени, когда я впервые «прозвучал по-взрослому» — Ефим.

Занавес поднимается. И мы оказываемся в 1961 году. А точнее, в Риге, в приемной Союза писателей — узком коридоре с красной ковровой дорожкой на полу и стульями у стены. Я си-

жу, приткнувшись к спинке стула, тетрадка — трубочкой, зажата в кулаке. Ею я произвольно постукиваю по ладони, чтобы снять нервное напряжение. Рядом со мной солидная женщина в очках — позолоченная оправка, лет неопределенных, вид серьезный, озабоченный. На ее коленях толстый фолиант в сафьяновой обложке — музейный раритет, не иначе.

— Вы тоже стихи пишете? — спрашиваю, облизывая губы.

— Моя доча Танюша.

— А что она пишет?

— Сейчас она больше читает.

— Пушкина?

— Почему Пушкина? Она работает в «Букинисте».

— На Дзирнаву, возле «молодежки»?

— Да, через улицу, — кивнула женщина. — Книжки сортирует на складе, стаж зарабатывает, чтобы в институт — без конкурса.

— Я там Куприна купил, избранное, три тома, — поспешно сообщаю я, чтобы придать себе веса.

— Там, помимо Куприна, литературы...

— Позавидуешь! Не то что в нашей заводской библиотеке.

— Ладно-ладно, про заводские библиотеки мне рассказывать не надо.

Я и не стал рассказывать. Вот-вот откроется дверь, и мы будем допущены в кабинет Василия Антоновича Золотова, председателя русской секции Союза писателей Латвии. На литконсультацию.

О, какое чарующее и опасное понятие — литконсультация!

Моя тетя Софа ходит на консультации в гинекологический кабинет. А я хожу на другие консультации — литературные. Сначала в редакцию газеты «Советская молодежь», а теперь — по со-

вету «молодежкиного» литконсультанта Давида Тимофеева сюда, в Союз писателей Латвии, где входные двери, тяжелые, надо признать, открывает мне, пятнадцатилетнему пацану, настоящий швейцар в ливрее.

Зауважаешь себя после этого, и стихи свои тоже.

Честно признаться, стихов у меня было еще немного. Школьная тетрадка... Одна, вторая, третья. И общая тетрадь, страниц сто, заполненная, правда, на треть. Сочинял я легко, но знал, что надо мучиться над строкой и чиркать-чиркать, исправлять там, исправлять здесь, как это делал Пушкин.

Пушкин это делал, но у меня никак не получалось. И исправлений на страницу накапливалось не более двух-трех. Поэтому мне не терпелось услышать от профессионального человека дельный совет. Под статью Гамлету я даже заготовил в уме такие, идущие от сердца Шекспира, слова: писать или не писать — вот в чем вопрос?

Почему — «заготовил»? Причина проста. За неделю до визита в Союз писателей был я у Давида Тимофеева, в «молодежке». Принес свое стихотворение, написанное в 14 лет. «Полудетское, непосредственное и с Божьей искоркой», — как выразился он.

*Так хочется кататься
на лыжах, на коньках.
С девчонкою промчатся,
как ветер на катках.
Летим мы, словно бестии,
едва касаясь льда.
От счастья, что мы вместе,
кружится голова.*

Стоп! Здесь сделаем остановку.

Стихотворение показалось Давиду Тимофееву почти хорошим, и он был готов подписать его в печать. Взыскательного арбитра устраивало и то, что мне хочется кататься не важно на чем — на лыжах либо коньках. Не мешали ему и мои ранние сексуальные интересы. Намекающая на это строка — вскрик души: «с девчонкою промчатся» уравновешивалась другой, романтической — «как ветер на катках». Мешало иное — то, что «летим мы, словно бестии».

— Это нехорошо. Исправьте, Ефим Аронович.

Я обалдел. Впервые меня назвали Ефимом,

впервые назвали по отчеству. И впервые, не пряча глаз, посоветовали самостоятельно исправить себя, а не учиться стихосложению у Пушкина.

Вдохновение мое тут же взыграло. И спонтанно «бестии» переродились в «бесята». Получилось:

*Летим мы, как бесята,
едва касаясь льда.
От счастья, что ты рядом,
кружится голова.*

Давид Тимофеев покачал головой:

— Не надо спешить. Литература требует полной отдачи. Всей жизни. Подумайте на досуге об этих словах, и у вас найдутся другие для замены ваших «бесят» на что-нибудь более подходящее историческому моменту.

С таким напутствием я вышел в «предбанник». У окна со «слезящимися» от солнечных лучей сосульками, дожидаясь своей очереди на литконсультацию, похаживали два паренька моих лет — Роман Тименчик и Владимир Гаврилов. Роман ходил в критиках русской словесности, Владимир в начинающих поэтах. Вот они и ходили друг перед другом, обменивались культурными выражениями и, словно завсегда, делали приветственные жесты спующим мимо журналистам. Правда, их тоже, как и меня, нигде еще не печатали. Однако это еще никому не мешало высказывать собственное мнение по отношению к уже признанным в издательских сферах литераторам. Таких в Риге было немного. Два-три человека. Хотя... если я найду достойную замену «бестиям» или «бесятам», печатающихся станет на одну единицу больше. Но где найти эту замену?

— Поэт? — спросил у меня Роман Тименчик.

Я поспешно кивнул. Впервые меня назвали поэтом. Десять минут назад, не умея обуздать беспокойных созданий из чистилища, я был всего лишь «молодым человеком, пробующим перо». Свихнуться можно от гордости. Еще бы добавить — чемпион Риги по боксу среди юношей 15-16 лет! Но неизвестно, как это котируется на узких дорожках поэтического Парнаса. Там ведь фехтуют не на кулаках. И я не добавил.

— Почитай, что написал, — предложил Роман Тименчик.

Тут я почувствовал какой-то подвох — все же

парень ходил в критиках, а критики, как и рефери на ринге, только и ищут, где ты ошибся.

– Уже читал! – буркнул я.

– Тимофееву?

– Ему.

– И что?

– Ну...

– Ничего... Литературе нужно всю жизнь посвящать.

Я согласно кивнул, предупрежденный уже о том Давидом Тимофеевым. Можно подумать, я собирался посвятить литературе всего час-другой моей насыщенной жизни. По окончании рабочей смены на 85-м заводе ГВФ. Между тренировкой в рижском СКА и уроками в 19-й вечерней школе. Посвящать так посвящать! И, разумеется, всю жизнь. Но мне хотелось, чтобы это посвящение началось по возможности скорей. А что для этого требуется? Первая публикация, как по наивности представлялось при знакомстве с биографиями советских «инженеров человеческих душ». Звучали они приблизительно так: «Его выдающаяся жизнь в литературе началась в далеком 1924 году, когда он напечатал свое первое стихотворение «На смерть Ленина».

«Замковый камень в творческую биографию вкладывает первая публикация» – стойко держалось в моей голове. И я, так и не найдя замену «бестиям» и «бесьятам», пришел на литконсультацию в Союз писателей. По моим предположениям, Василий Антонович Золотов, автор книги, которая так и называется «Замковый камень», подскажет мне, чем эти самые «бестии» и «бесьята» не угодили советской власти, и изыщет в моих тетрадках нечто подходящее для газетной страницы. Потому и заготовил идущие от сердца Шекспира слова: писать или не писать – вот в чем вопрос?

Но задал их не Золотову, а женщине в позолоченных очках, сидящей рядом со мной в коридоре.

Почему?

Потому что из фолианта, который она перелистывала на коленях, выпорхнул листок, исписанный стремительной рукой.

Я поднял его и увидел – стихи, а сбоку профиль какой-то девушки. Для солидности, дабы выглядеть старше своего возраста, выдал домашнюю заготовку: писать или не писать – вот в чем вопрос?

Женщина с интересом посмотрела на меня.

– Ваши? – спросил я, всматриваясь в витиеватый почерк.

– Пушкина.

– Какого Пушкина? – растерялся я, помня, что читать Пушкина мне настойчиво рекомендуют все литконсультанты, как устно, так и письменно.

– Александра Сергеевича.

– В альбом княжны А. Д. Абамелек, – прочел я. – Вы княжна?

Женщина приподняла пальцами очки в позолоченной оправе.

– Я – Абамелек.

– Но вы ведь тетя! Как же Абамелех?

– Абамелек! – поправила меня женщина. – И при чем тут это?

– Тетя?

– Пусть так... Зовите меня лучше Ольга Андреевна.

– У вас не женская фамилия.

– Позвольте, молодой человек.

– Тетя! – спохватившись, я тут же поправился.

– Ольга Андреевна! У вас фамилия в переводе на русский – папа-царь.

– Какой царь?

– Обычный, царь иудейский. Так Соломон Мудрый называл на древнееврейском своего папу царя Давида – «Аба-мелех».

– Откуда знаешь?

– Мой папа Арон так называл своего папу Фройку, моего дедушку. А дедушка, пока не умер, так называл меня. «Когда вырастешь, и ты будешь Аба-мелех», – говорил мне.

– Царь иудейский? – протирая платочком стекла очков, Ольга Андреевна как-то странно посмотрела на меня. – Удивительный мальчик.

– Я из колена Давидова. Так у нас говорят – чей ты родом.

– А у нас говорят в этом случае – «царевич», – вполне серьезно сказала солидная женщина.

Но мне в ее голосе послышались нотки иронии, и я поспешно перевел стрелки нашей беседы на другой, вполне безопасный путь.

– Стихи пишу, но еще не печатаюсь, – представился ей в естественном для пятнадцатилетнего мальчишки качестве.

– А я стихи не пишу. Я их читаю. Вот посмотри, как называется эта книга, – постучала аккуратно закругленным ноготком с маникюром телесного цвета по обложке лежащего на коленях фолианта.

Я взглянул и обомлел: золотым тиснением по красному полю шло «ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ».

— Это о Давиде-мелехе? Моем прапра... не знаю каком дедушке? Дадите почитать?

— Это об Иисусе — царе иудейском. А почитать... Погружайся пока в Пушкина. Он тоже прапра... дедушка всех русских поэтов.

— «Старик Державин нас заметил. И, в гроб сходя, благословил», — спонтанно напомнил я Ольге Андреевне пушкинские строки, чтобы выглядеть на уровне обязательной начитанности. — «Евгений Онегин», глава восьмая.

Женщина как-то странно улыбнулась, будто знала много больше, чем было сказано в восьмой главе романа в стихах.

— Державин заметил. А Баратынский сказал: «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился Гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами». Улавливаешь разницу?

Я мотнул головой, испытывая некоторую растерянность.

— Полагайся не на тех, молодой человек, кто тебя заметит, а на тех, кто тебя призовет. Понял?

С этими словами княгиня — с ума сойти, княгиня! — вошла в открывшийся для приема посетителей кабинет Василия Антоновича Золотова.

А я склонился над листком, вырванным, судя по неровным краям, из какой-то тетради, и стал погружаться-погружаться в Пушкина, продираясь сквозь «яти».

В АЛЬБОМ КНЯЖНЫ А. Д. АБАМЕЛЕК

*Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели — с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.*

Отступление первое

**Фрагмент статьи О.И. Михайловой
«Портреты А. Д. Абамелек».**

Ссылка:

<http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v20/v20-065-.htm>

Эти стихи были написаны Пушкиным 9 апреля 1832 г. в альбом княжны Анны Давыдовны Абамелек. В комментариях к этому стихотворению обычно повторялись кратчайшие биографические сведения об А. Д. Абамелек: родилась в 1814 г., умерла в 1889 г., в 1832 г. пожалована во фрейлины императрицы, в 1835 г. вышла замуж за И. А. Баратынского, брата поэта. Иногда перечислялись имена поэтов, посвящавших ей стихи, и цитировались их произведения. И хотя А. Д. Абамелек (Баратынской) было посвящено несколько специальных работ, о личности самой Анны Давыдовны было известно очень мало. Подробнее освещалась ее переводческая деятельность в последние годы жизни, которую академик М. П. Алексеев назвал «виртуозной переводческой версификацией».

Отец Анны Давыдовны, князь Давыд Семенович Абамелек (1774 — 1833), с 1798 г. служил в лейб-гвардии гусарском полку, отличился во время Отечественной войны 1812 года, был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость», несколькими русскими и иностранными орденами.

Жена его Марфа Екимовна (Якимовна, Акимовна, Иоакимовна) происходила из богатой и патриархальной семьи Лазаревых, сыгравшей заметную роль и в экономической, и в культурной жизни России. С этой семьей связано и создание Лазаревского института восточных языков, ставшего одним из центров востоковедения в России.

2

Ольга Андреевна вышла из кабинета Василия Антоновича Золотова с явно заметным «нервным напряжением в глазах», как писали в переводных романах французские классики девятнадцатого века. Не глядя приняла листок со стихотворением Пушкина, засунула его между страниц сафьянового фолианта и, как мне почудилось, смахнула большим пальцем правой руки слезы с ресниц. Или — кто знает этих «женщин не первой молодости»? — навела таким образом макияж на «лице со следами былой красоты».

Женщин я не знал. Ни первой молодости, ни второй. Может быть, третьей, как моя бабушка Ида, мама моей мамы Ривы. Она часто рассказывала мне и о первой молодости в Одессе — во время вселенского голодомора, и о второй, на роди-

не «Капитанской дочки», в Оренбурге, тогда Чкалове — в годы Великой Отечественной войны. А о третьей не рассказывала: эту молодость я видел воочию прямо здесь, в Старой Риге, когда бабушка носила в ломбард свои вещи, чтобы дожить до дедушкиной зарплаты.

Следы былой красоты меня не интересовали. Но я, проводив взглядом женщину, внезапно увидел: у самой двери, в уголке, под стенкой, лежит, подрагивая от сквозняка, какой-то газетный листок. «Выпал, вероятно, из книги, когда впихивали в нее стихотворение Пушкина», — подумал я, пряча вырезку в карман пальто.

— Тетя! — подал придавленно голос и смущенно замолк. Кричать? И где? В Союзе писателей? Нет, это как-то не стыковалось с моими представлениями о воспитанности, вычитанными тоже в книжках. Сочтут еще, что я «дворовой мальчик», отнюдь не поэт, имеющий при себе тетрадку стихов. К тому же из кабинета литконсультанта раздалось:

— Вы на прием?

На пороге показался объемный мужичок лет под тридцать, рыжеватого отлива. Одет он был в форму вохровца, без знаков различия. Такие охраняют мосты и заводы. Винтовку бы ему в руки, и можно честь отдавать. Но я честь не отдал, перерос это детское баловство. И торопливо прошел в комнату. У письменного стола с лампой под абажуром сидел человек средних лет: китайский костюм зеленого цвета, модный в ту пору из-за дешевизны и доступности, черный галстук с серебристой искрой. На вид — добрый: округлое лицо, несколько вздернутый нос, короткая стрижка чуть-чуть волнистых темно-каштановых волос, смысловой наполненности глаза.

— Золотов, — приподнялся он над столом, подал мне руку. — Ефим Аронович?

— Да, — как-то замешкался я. Еще ни один маститый деятель пера не обращался ко мне по отчеству. Разве что Давид Тимофеев. Но он был не писателем, а журналистом, к тому же евреем, для которого отчество Аронович отнюдь не табуировано и вполне естественно слетает с языка.

— Наслышан, наслышан, — сказал мне Василий Антонович.

— Из «молодежки» звонили? — спросил я напрямик.

— Мы без протекции, — засмеялся Золотов. — Я вас на соревнованиях видел.

— У нас в СКА?

— На первенстве Риги.

— И что?

— Понравилось.

— Не то что стихи? — опять напрямую спросил я.

— И стихи понравились.

— Но их нигде не печатают!

— А сколько вам лет?

— Пятнадцать... Через неделю будет шестнадцать, и паспорт получу.

— Вот получите паспорт, и сразу напечатают.

— Какая связь? — замешкался я.

— Дело в Пушкине.

— Опять Пушкин?

— А что?

— Да ничего. Слушаю.

— Первые стихи Александра Сергеевича появились в печати в 1814 году, когда...

Золотов сделал выразительную паузу, будто приглашая меня в лабиринт спонтанной сообразительности.

— Когда — что? А-а, — догадался я, — когда ему было пятнадцать лет.

— Вот-вот, поэтому...

— Понятно. Поэтому, чтобы я не возомнил себя вторым Пушкиным, меня напечатают не ранее шестнадцати.

— Вот-вот, я и говорю, что вы — отличный боксер. У вас прекрасная реакция.

— На удар?

— И на удар тоже.

— А если серьезно?

— Еще надо работать над словом. Шлифовать стиль. А то вы как-то небрежны. Схватываете первое попавшееся. Вот, допустим, — он полистал мою тетрадку. — «В первый раз получаю зарплату. И, наверное, потому Подпись ставлю я угловато, Подражая отцу своему». Прочувствованно, точно по смыслу и времени, в котором живем. Но... рифма-рифма... «Потому — своему».

— Рифма не проблема. Хуже, когда требуют переработать содержание.

— Кто требует?

— «Советский спорт».

— Газета?

— Не сам, конечно, спорт. Газета.

— Миллионные тиражи. К тому же и Евтушенко начинал в «Советском спорте», первое стихотворение там напечатал.

— Да, но он уже напечатал. А мне... мне еще исправлять свои «Старые боксерские перчатки».

— Чего там исправлять? Давайте сообща подумаем. — Золотов опять полистал мою тетрадку. — «Перчатки в проседи соли, Что с потом впиталась в них, Как память о прошлом боксеры Хранят меж реликвий своих». Рифма, правда, опять из тех, что ближе лежит. «В них — своих»... Однако в целом стихотворение на должном уровне.

— В целом его и готовы напечатать. Но дело не в рифме. А в философии, как они пишут, бокса. У меня — «жестокий бой». Им требуется, чтобы он был «высокотехнический». Без всякого намека на нокдаун, нокаут и вообще долой силовой бокс. Сейчас, после Олимпиады в Риме, взят курс, как они пишут, на техническую подготовку, и это надо как-то отразить в стихотворении. А как отразить, когда все оно написано ради последних строчек: «Перчатки, родившись для боя, Не могут без боя жить!» Боя! А не техничной игры!

— Мне бы ваши заботы, Ефим Аронович. Подумайте недельку и придумаете. До шестнадцати лет вас все равно не напечатает. Так что время есть еще в запасе.

— Время в запасе есть, Василий Антонович, — признался я, — а вот слов в запасе не хватает.

— Ничего-ничего... Коля Белов у нас мастер по подбору слов, — Золотов подошел парня в вохровской форме. — Поможешь Ефиму Ароновичу напечататься в «Советском спорте»?

— По спортивной тематике я не копенгаген. Мне что высокотехнический бокс, что силовой — все одно: по морде бьют без всякого душевного содрогания. — Коля взял со стола мою тетрадку, пробежал глазами по исписанной странице, ритмично чмокая губами, будто определял на вкус каждую строчку. — Я ему и в сборнике Доронина помогу напечататься. Как раз там требуются стихи молодых рабочих. Ты рабочий? — обратился ко мне с вопросом.

— А то как же! Слесарь-жестянщик, бригада моего папы, завод №85 ГВФ, улица Анри Барбюса, 9.

— Знаем, — улыбнулся чему-то своему Золотов. — До войны вино-водочное предприятие. Мы там, в корпусах этого предприятия, дислоцировались. В сорок четвертом, когда вошли в Ригу.

— Наши рабочие освоились в этих корпусах в сорок пятом, когда их прислали сюда с Урала.

Просверливали дырку в полу, пропускали шланг в подвал, в винные бочки и...

— Этот патент они переняли...

Я ожидал: «у нас».

Но Золотов сказал:

— У русских солдат.

Коля Белов добавил:

— Голь на выдумки хитра, — и щелкнул себя указательным пальцем по кадыку, поросшему рыжим волосом.

3

Мы сидели в кафе по прозвищу «Шизо», на Мулице Вальню, в пяти минутах ходьбы от кинотеатра «Айна». В самом центре города. И пили черный кофе за девять копеек чашка. Коля в охотку выпил бы водки. Но денег у него на это бабло не имелось в достатке, и он с горечью чмокал губами, касаясь смолистой жидкости.

— На наш гонорар даже закуски не купишь, — делился он своими соображениями о советско-партийной печати, как и полагалось автору, уже печатающемуся.

— А сколько платят?

— В «молодежке» двадцать копеек за строчку. Выгоднее писать лесенкой, под Маяковского.

— Ты так и пишешь?

— Нет, я под Есенина, прямой строчкой. — Коля вынул из накладного кармана вохровской гимнастерки тоненькую пачечку вырезок из различных газет, завернутую в чистый лист бумаги. Разложил перед собой, посматривая по сторонам на непризнанных поэтов, постоянных обитателей «Шизо», которые, как ему представлялось, с завистью следили за его манипуляциями. — Вот «молодежка». А это «Сибирский вестник», «Псковская речь», «Новгородская правда». Там они в «Новгородке» впервые дали мою березу. Слушаешь?

Я кивнул, зачарованно внимая названиям газет, где печатают авторов из Риги.

— Русская кудрявая береза проросла корнями шар земной.

— Коля! — Блоха географического сомнения со всей стремительностью мелкого животного попортила мне кровь. — А почему русская проросла корнями в Канаду? А не наоборот — канадская в Россию?

— Потому что канадская не прорастет в «молодежке», а там двадцать копеек за строчку. Но если серьезно...

— Серьезно не надо.

— Тогда давай по делу. Я получил письмо от Доронина...

— А кто это?

— Поэт, современник Маяковского.

— Подожди-подожди! — вспомнилось мне из школьного курса. — Маяковский писал об одном таком современнике: «Утомительно и длинно, как Доронин».

— Угадал. Это о нем!

— Еще жив?

— Жив-жив! Он сейчас собирает коллективный сборник рабочих поэтов. Выйдет в будущем году в издательстве «Московский рабочий». Там гонорар...

— Тридцать копеек за строчку? — с притворной заинтересованностью спросил я. Меня — легко догадаться — волновал не гонорар, а возможность напечататься в столичном издании.

— Я в этом не копенгаген. Но говорят, рубль за строчку. «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось».

— Москва... Я туда только на соревнования ездил.

— Теперь поедут твои стихи. У тебя много на рабочую тему?

— «Первая зарплата»...

— Слышал. Годится.

— «Клички».

— А это что?

— *Приходят на завод ребята.*

И, как положено, почти всегда,

Хоть это никому не надо,

Вдруг клички получают на года.

И вот растут «сачки», «салаги»,

Взрослеют, жизнь берет свое.

Но...

— Стоп! Сам сказал — «но».

— Чего «но», Коля?

— Я не копенгаген, но это — «сачки», «салаги» — не пропустят. Цензура не дремлет. А тут, как говорится, кривое зеркало жизни.

— Другого нет. Я работаю уже почти полгода, с первого января. И все так, как написал.

— Ты тоже — «сачок», «салага»?

— Я — нет.

— Вот видишь, рисуешь черным, а сам в беленьком ходишь.

— Со мной все просто. Я вместе с папой работаю. Мне никто клички не прилепит. А то я и сам могу прилепить. Апперкот по челюсти, и — с копыт!

— Понял. Давай так... Посылаем Доронину «Первую зарплату», «Старые боксерские перчатки» — это апробировано. И... — он сделал паузу. — Ладно, пусть я не копенгаген, но рискнем. Давай и «Клички». Поговаривают, что сейчас какие-то новые веянья на идеологическом фронте. Авось и проскочит в печать.

— Договорились.

Радости я не скрывал. Получалось, что опубликуюсь (по возрастным меркам) сразу же за Пушкиным. Он в 15 лет, я в 16. Не так плохо, если остальную часть жизни посвятить литературе, как предлагали мне Давид Тимофеев и Роман Тименчик.

Тут мне и вспомнилась женщина в позолоченных очках. Ей по возрасту уже не с кем было соперничать, однако опубликоваться, судя по всему, ей тоже хотелось. И я спросил Колю:

— А что с Ольгой Андреевной?

— Это с кем? — удивился Коля.

— Тетенька, что была раньше меня в очереди к Золотову. Вышла вся в расстроенных чувствах.

— А-а... Дикая история. Она принесла книгу. На предмет переиздания. Мол, театральная трагедия. Мол, знаменитая в прошлом. Авось наше издательство «Лиесма» купится на это.

— А наше издательство...

— Наше-ваше, не перебивай! Не к Золотову надо обращаться за рекомендациями. Да и книга допотопная, из начала двадцатого века.

— Шекспир писал раньше.

— Так то Шекспир! А тут царский дядя. Князь, да не простой, а великий. Понял, какая диалектика? И тема... тема... Об Иисусе Христе! Кто такую издаст? У нас бумагу и на молодых поэтов не выделяют, а тут на старого князя...

— Но он, оказывается, был известный писатель. На его стихи романсы сочинены. Вот, посмотри, — и я положил перед Колей вырезку из газеты, выроненную Ольгой Андреевной в коридоре Союза писателей.

Газета была странная, в доисторической, я бы сказал, желтизне. И называлась диковинно. Не «Советская Латвия», не «Советская молодежь»,

не «Советский патриот». А просто и лаконично — «Слово». Издавалась же она, если посмотреть на выходные данные, у нас в Риге. Но много-много лет назад, когда советской властью здесь еще и не пахло. В 1928 году. И сообщала не о рекордных плавках и передовиках производства, конечно, а о событиях из жизни принцев, князей, графов и прочих голубокровных представителей дворянского сословия. О тех событиях и о той жизни, что, вне всякого сомнения, интересны любому пацану, ибо ассоциируется с интригами королевского дома, тремя мушкетерами и многочисленными приключениями в «стиле плаща и кинжала».

Отступление второе

Великий князь Константин Константинович

Вот эта газета. И статья из нее, посвященная, как выяснилось, великому князю Константину Константиновичу, автору музейной книги в сафьяновой обложке «Царь Иудейский».

О себе он писал так:

*Я баловень судьбы... Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, —
Рождением к величью я призван.*

«Слово», № 960, Рига, 1928 год

Среди живущих в Риге лиц, лично хорошо знавших покойного великого князя Константина Константиновича, первое место занимает знаменитая русская артистка Мария Андреевна Ведринская. Руководствуясь этим обстоятельством, наш сотрудник посетил ее и просил поделиться воспоминаниями об августейшем поэте. С присущей ей предупредительной любезностью М.А. Ведринская пошла навстречу этому желанию и рассказала следующее: «С великим князем Константином Константиновичем я познакомилась на вечере в Первом кадетском корпусе в Петербурге, где он присутствовал в качестве начальника военно-учебных заведений. На вечере этом я принимала участие, выступив с мелодекламацией в концертном отделении. После исполненной мною этой части программы великий князь подошел ко мне со словами: «Я вообще не люблю мелодекламации, но в вашем исполнении я

не только мирюсь с ней, я покорен ею». После этого любезного вступления у нас завязался оживленный разговор, во время которого великий князь, увидев проходившего мимо нас маленького кадетика, представил его мне как самого юного поклонника моего таланта. Первая встреча моя с великим князем носила мимолетный характер, но, несмотря на это, в ней в полной мере уже почувствовалась обаятельность его необычайно привлекательной нравственной личности. Познакомиться с великим князем более близко довелось мне в связи с постановкою его пьесы «Царь Иудейский» на сцене Эрмитажного театра.

Задолго еще до начала репетиций этого спектакля, составившего событие в тогдашнем театральном мире Петербурга, шли о нем разнообразные толки. В частности, артистическая среда живо интересовалась вопросом распределения ролей, которое находилось в руках автора пьесы. В качестве исполнительницы одной из главных ролей, именно Прокулы, великий князь наметил В.В.Котляревскую-Пушкареву, что было естественно и понятно, так как с Верой Васильевной и её мужем академиком Нест. Алекс. Котляревским великий князь был связан узами тесной дружбы. У Котляревских он часто бывал совершенно запросто и в свою очередь нередко приглашал их к интимным обедам и ужинам в Павловском и Мраморном дворцах. Между прочим, в семье Котляревских сохранилась большая и интересная переписка с великим князем, преимущественно литературного и театрального характера.

Однажды посетил меня состоявший при великом князе в должности его адъютанта ген. Ермолинский и предложил в проектированном спектакле «Царя Иудейского» исполнить роль Лии. Однако я предпочла Иоанну. Хотя это роль пожилой женщины, мне думалось, что из нее можно сделать в сценическом отношении значительно больше, чем из роли Лии. Ермолинский обещал переговорить по этому поводу с великим князем и вскоре привез мне полное его согласие.

Начались репетиции.

Уже во время них определился характер этой исключительной по своей глубине пьесы. Каждая сцена её производила глубокое впечатление. Исполнители были охвачены совсем особым настроением молитвенной сосредоточенности. Во время репетиций останавливало на себе особенное вни-

мание полное отсутствие суетности и лишних праздных разговоров.

Производившееся «Царем Иудейским» впечатление действия «не от мира сего» должно быть поставлено в прямую связь с исполнением роли Иосифа Аримафейского самим великим князем. В этом вдохновенном исполнении была какая-то особая бестелесность: великий князь на сцене всё время как бы молился.

Помню, князя Игорь и Константин по молодости лет иногда приходили на репетициях в веселое настроение. Но их смешиливость продолжалась обыкновенно недолго. Смотришь, и их захватывает это общее настроение преобладающей благоговейности. И тогда словно оторопелая испуганность замечалась в их широко раскрытых глазах.

Известно, что для того, чтобы провести «Царя Иудейского» на сцену, понадобилось преодолеть сопротивление тогдашнего духовенства. Но когда оно ближе ознакомилось с пьесой великого князя и в особенности с её исполнением, то убедилось, что здесь нет никакого актерства, а наоборот, имеет место приближение к мистериям, исполненным чистоты и благочестия.

Живо помню один спектакль «Царя Иудейского», именно устроенный для императора Николая II. Он был крайне взволнован всем виденным на сцене, хотя и старался казаться спокойным. Скрывая свое душевное состояние, он все время тербил свою перчатку, которая к концу вечера оказалась совсем разорванной. В антрактах император беседовал с артистами, обнаруживая свою изумительную память и внимательность. Между прочим, обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось первой заговорить с государем.

Обходя исполнителей, император медленно приближался ко мне. Около меня стоял один из офицеров Измайловского полка, который исполнял роль раба Пилата.

«А вы кто?» — спросил его государь, видимо, желая узнать, какую он роль играет в пьесе.

«Раб Пилата, Ваше Императорское Величество», — скороговоркой и слитно отрапортовал измайловец.

«Не понимаю», — возразил государь.

Спрошенный такой же скороговоркой повторил свой ответ.

«И все-таки не понимаю», — сказал, улыбаясь, государь.

Тогда решила вмешаться в разговор я для того, чтобы устранить возникшее недоумение.

«Этот офицер, — сказала я, — хочет доложить Вашему Императорскому Величеству, что он исполняет роль раба Пилата».

Государь, обернувшись ко мне, любезно поблагодарил меня и начал со мною оживленный разговор, который продолжался свыше двадцати минут.

При этом император сказал, что он был тронут почти до слез проникновенным выполнением роли Иосифа Аримафейского великим князем. Он подчеркнул, что «Царь Иудейский» совсем не похож на пьесы в общепринятом смысле этого слова, но именно является мистерией, подобной тем, которые некогда исполнялись при дворе его державного предка царя Алексея Михайловича.

Государь говорил также, что очень доволен всеми исполнителями...

По справедливости же сказать, выше всех по глубине переживаний своей роли стоял великий князь Константин Константинович.

Он передавал ее с величайшею простотою и вместе с тем с благоговением. И это именно он создавал на сцене незабываемую атмосферу почти церковного священнодействия.

Основная мысль «Царя Иудейского»: «Христа на сцене нет, но Он среди нас» — была воплощена великим князем и в его собственном исполнении, и в руководстве исполнением других.

Именно она дала ту насыщенность религиозным чувством, которою отличались спектакли «Царя Иудейского» на сцене Эрмитажного театра. Последние содействовали сближению моему с семьей великого князя. Между прочим, после спектаклей «Царя Иудейского» и в. к. Константин Константинович, и вел. княгиня Елизавета Маврикиевна стали называть меня «наша милая Иоанна» по той роли, которую я исполняла в произведении великого князя.

Вел. князь Константин Константинович относился ко мне всегда с исключительным вниманием и предупредительностью. Укажу на одну характерную мелочь. Узнав как-то от меня, что я не выношу табачного дыма, великий князь после этого не только никогда не курил при мне сам, но и останавливал других, начинавших закуривать в моем присутствии.

Последнее мое свидание с великим князем Константином Константиновичем произошло в мае

1915 года в Павловске, незадолго до его смерти. Великий князь тогда был уже тяжело болен, но присутствовал на интимном литературном утрене, во время которого читались его произведения. Помнится, я читала его стихотворение:

Я нарву вам цветов к именинам,
Много пестрых, пахучих цветов...

Великий князь казался очень довольным и много благодарил меня. И он, и великая княгиня Елизавета Маврикиевна были поистине обаятельными хозяевами, пленявшими своею любезностью.

Как ни успешно прошло это литературное утро в артистическом отношении, но во время его все мы находились под гнетом какого-то тяжелого предчувствия. На другой день должен был отбыть на фронт кн. Багратион Мухранский, молодой супруг дочери великого князя — Татьяны Константиновны. Сейчас же по прибытии к месту своего назначения он был убит в бою с немцами.

А несколько дней спустя сошел в безвременную могилу и сам великий князь Константин Константинович.

4

Поистине удивительное открытие сделал я накануне получения паспорта. Оказывается, в эпоху Серебряного века русской литературы стихи писали не только Блок и Брюсов, Маяковский и Есенин, но и представители высших сословий, включая царевых родственников из великих и не совсем великих князей. В школе мы этого не проходили. Наши представления зиждились на букварных прописях: «Мы — не рабы! Рабы — не мы!» А кто — они, другие, которым ничего подобного утверждать не приходится? Кто? Тут сплошной туман. Будто и не осталось среди нас, декларирующих «Мы — не рабы!», никого из тех, бывших. И впрямь... Раньше я никогда над этим не задумывался. А сейчас, когда случайно познакомился с Ольгой Андреевной, прочитал давнюю статью о великом князе Константине Константиновиче, во мне занозисто стала гноиться мысль: да куда же они все подевались? Одни погибли, это ясно. Другие уехали за границу, тоже не секрет. Но ведь кто-то из их наследников остался, жил среди нас все эти годы. Посчитаем на пальцах, все-

го ничего, каких-то двадцать пять лет назад, если говорить о Риге, еще «буржуазной» в ту пору, они были дворянами — людьми с голубой кровью. И вот с приходом советских войск в одночасье превратились в тех, кто заученно талдычит по сей день: «Мы — не рабы! Рабы — не мы!» Все и у них теперь в согласии с прописными истинами советского букваря, включая и кровь, которая, как поясняла пионервожатая Зоя Васильева, голубой не бывает, а цвета она боевого, под наше красное знамя.

Удивительно фордыбачит жизнь! Из грязи в князи. А из князей... Действительно, куда подалась из княгинь «моя» Ольга Андреевна? По виду напоминает учительницу пятых-седьмых классов. А на самом деле? И доча ее, Танечка... Знает ли она, что княжеского рода? Разве это не тема для небольшого рассказа? Одни рождаются в рубашке, а другие — поди ж! — прямо с титулом. Живет себе, значит, девочка, ничего не подозревает. Ходит в школу и к репетитору на уроки музыки, прыгает на скакалке, играет в «классики», дерется с мальчишками, и вдруг ей докладывают: она княгиня. Каково? Интересно, как эта девочка поведет себя после такого известия? Мне это было особенно интересно, так как, по словам дедушки Фройки, я тоже принадлежал к высшему сословию, хотя по официальной родословной числился «из рабочих», сыном и внуком жестянщиков. Впрочем, и мой дальний предок Давид — царь Древнего Израиля — был из пастушков, по советским представлениям о рангах проходил в качестве «трудового элемента». Наше родство, однако, меня мало занимало в ту пору: не слишком доказательное, можно сказать, теоретическое. А вот родство неведомой мне Танечки, дочки новой знакомой, с княгиней Анной Абамелек — прямое и не нуждается ни в каких доказательствах.

Но прежде ее следовало разыскать. И я отправился в букинистический магазин на улице Дзирнаву, пристанище рижских книголюбцев и собирателей личных библиотек, возле которого можно было встретить от самых незначительных литераторов и журналистов до самых маститых. И каждый имел на примете определенного продавца, а тот — определенную книгу, обещанную незначительному писателю или журналисту за трешку, а значительному за червонец.

У меня в кармане больше полтинника мелочью

не наберется. И я мог претендовать только на тощую книжицу какого-то столь же тощего поэта, обойденного популярностью на тернистом пути в гонорарную кассу. Но на сей раз мне никакая книжица не требовалась. А требовалась княгиня Татьяна Абамелек, но, разумеется, под видом простой девушки со склада сортировки книг.

— Танюш! — кликнул ее по моей просьбе самый главный и, без всяких дураков, уважаемый всей читающей Ригой продавец Илья Павлович, в очках, в благородной седине, аккуратно подстриженных усиках и синем ситцевом халате, никак не вязавшемся с его представительной внешностью.

— Я уже тут! — вывилась из проема двери девушка моих лет, вся из себя тоже ситцевая, в халатике, косыночке, нарукавниках. — Что там у вас так некогда?

— Тебя жених дожидается, — пошутил втихую, но так, что услышал весь магазин, Илья Павлович, и люди — зырк-зырк на меня. Продащицы, само собой, а также покупатели из писателей и журналистов, попахивающих отнюдь не одеколоном. Ишь ты, молоко на усах не обсохло, а уже — жених! Я зашмыгал носом, полагая, что и моя нареченная станет красной от смущения как помидор. Но — диво дивное! — ни оторопи, ни малейшего смущения. Наоборот, внезапная радость узнавания появилась на ее лице.

— Фима собственной персоной!

Я еще приличия ради потоптался на месте, прикидывая, где ее видел? И вдруг сообразил. Да это же Танька-встанька из параллельного класса нашей девятнадцатой вечерней школы! Прозвань «встанька» получила в награду за акробатические трюки, которые вытворяла в коридоре на перемене. Глядишь ты, по внешним повадкам — прирожденная циркачка, а по родословной — княгиня. Неисповедимы, как говорится, пути Господни. Мои же пути исповедимы и легко просчитаны.

— Таня, у меня к тебе срочное дело.

— Будь спок на зубок и роток! Обмозгуем — не промахнемся!

— Когда у тебя обеденный перерыв?

Толпа покупателей из писателей и журналистов, попахивающих отнюдь не одеколоном, тут же загудела:

— Сейчас-сейчас, не отходя от кассы!

И Илье Павловичу, коль скоро назвал меня на

свою голову женихом, пришлось согласиться с настояниями покупателей, имеющих в зачатке заветные турки с изображением Ленина, который на этих бумажках всегда в цене.

— Можешь быть свободна, — сказал он «моей» невесте.

— До самого утра! — совсем расшалилась поддтая публика, обдавая нас ароматом выдержанного коньяка.

5

Из магазина Танька-встанька вышла преобразенной. «В лучшую сторону», как говорят преподаватели русского языка. Голубого раскраса плащик, перетянутый поясом, вязаный беретик с помпончиком, каштановые волосы волнами до плеч. Глаза... Глаза вообще особенные, не для помещения и тусклого электрического света. В комнате они сероватые, а под открытым небом, в лучах солнца, зеленые, как у кошки. И впрямь такую невесту веди хоть сразу в загс. Но какой загс в пятнадцать мальчишеских лет? Проще сходить в кино. Либо в кафеюшку — девять копеек чашечка смоляного напитка плюс десять за булочку.

Вот и сходили. Всего один квартал вниз по улице Ленина и направо по Кирова, туда, где он — бронзовый Ленин, конечно, а не Киров — правильное направление нам рукой указывает.

Через десять минут мы уже пришвартовались у столика.

— Я угощаю, — это я.

— Нет, я угощаю, — это она.

Но меня не переубедишь, настоял на своем: благо полтинник держал в «пистоне» — это такой узенький карманчик на брюках, в том укромном месте, где обычно у человека находится аппендикс.

Сидим в кафе-мороженое, смотрим через стеклянную витрину на улицу. Тут в обозрении парк с постаментом от памятника Барклаю де Толли, а за пределами оно, но в самой близости от безденежных моих карманов, молочный ресторан и кинотеатры «Рига» и «Спартак».

Обслуживает нас седовласый дедок лет под семьдесят. Высокорослый, подвижный как ртуть и весь из себя отглаженный. Классический

образец французского кельнера — просто снимай его в фильме «про иностранную жизнь». Причем никакого пренебрежения к малолетним посетителям и к их грошовым интересам насчет чего-то выпить не дороже гривенника и чем-то похожим по стоимости закусить.

— Два кофе, две булочки. Принято, — сказал он с латышским акцентом, обмахнул наш стол нарукавной салфеткой и достойно удалился на кухню, будто заказали мы невесть что деликатесное — рублей на десять.

— Карлис! — уважительно отозвалась о нем Таня.

— Вы знакомы? — удивился я.

— Будь спок на зубок и роток! Мама с ним знакома. Он тут работал, еще когда меня на свете не было.

— Это что — при немцах?

— При немцах он был в лагере.

— В Освенциме?

— В советском, под Соликамском, на Урале.

— Мой дедушка Аврум тоже там сидел.

— Дедушка из Риги?

— Из Одессы. Папа моей мамы Ривы.

— Одесские порядки нам неизвестны. А тут... Ты разве не знаешь? Ну да, в школе этого не проходили... 14 июня 1941 года многих отсюда — из состоятельных — чекисты увезли прямо в лагерь. На Урал и в Сибирь.

— А он был состоятельным?

— Владелец кафе-мороженого.

— Этого?

— Этого.

— Ага. Тогда понятно.

— Мама еще в детстве бегала сюда сок выпить и мороженое-глиссе поесть.

Что-то загадочное почудилось мне в заграничном слове «глиссе», но я не стал допытываться о его значении. Мне не терпелось завернуть Таньку-встаньку к ее княжеской родословной, докопаться, знает ли она об этом или не знает. И как себя чувствует, если знает, что в ее жилах течет дворянская кровь. Все же не принцесса какая-нибудь из Букингемского дворца, а обычная девчонка, моя соученица, зарабатывающая, как и я, производственный стаж для «облегченного» проникновения в институт. Я, правда, намеревался в университет, на отделение журналистики. А она? Она, как выяснилось пару минут спустя, собиралась на исторический. Но с особым уклоном. Хо-

тела заниматься историей литературы. Много, по ее словам, перевернуто в этой истории, время пришлось разложить все по полочкам. Каким? Это интриговало, как тайны мадридского двора. И я, чтобы не выглядеть каким-то валенком, решил поделиться и своими познаниями из литературных секретов, почерпнутых у Коли Белова.

— Таня! А известно ли тебе, что поэт Доронин еще жив?

— Это какой поэт?

— О нем Маяковский писал: «утомительно и длинно, как Доронин».

— Ну и жив... «Жив и я, привет тебе, привет»...

— Не в том смысле, Таня. Он собирает стихи рабочих поэтов. В издательстве «Московский рабочий». А мой друг Коля ему посылает такие стихи из Риги.

— Во бору брусника, а в Европе Рига! Москва же — большая деревня. Зачем мне Доронин с его «Московским рабочим»?

— Но стихи твои...

— Я не пишу на рабочую тему

— Не важно. Главное, что ты работаешь. Под это дело можно и любовную лирику. У тебя есть любовная лирика?

— А у тебя?

— У меня?

Я с горечью подумал: и у меня, наверное, нет любовной лирики. Разве что стишок: «так хочется кататься на лыжах, на коньках. С девчонкою промчатся, как ветер на катках». Но какая здесь любовная лирика? Скорей соревновательный позыв — кто кого обгонит.

Таня рассмеялась, наблюдая за метаморфозами моей озадаченной рожицы. Слава Господи, долго она не смеялась. Карлис-официант принес кофе и булочки. И у меня появилась возможность лишний раз продемонстрировать свой рыцарский характер.

Блюдец со своей булочкой я пододвинул к блюдцу с ее булочкой.

— Чего так?

— Мне надо вес держать.

— Не валяй дурака! Все ходим голодными.

— Ей-бо, Таня! У меня на носу соревнования — первенство Рижского гарнизона по боксу. А перевес хоть в сто граммов, и я попадаю в легчайший вес.

— А там? Побьют?

— Не в том дело! — пояснил я досадливо. — Там и без меня людей хватает! А в наилегчайшем... Меня ведь допустили из-за того, что второго мухача у нас нет. Это тебе, Таня, не первенство для пацанов. Бери выше. Рубимся по взрослым. А мне рубиться с Васей Голдвассером, он старше меня, почитай, на десять лет!

— Возраст нам не указ. Чемпион?

— Ага. Прибалтийского округа. Военный переводчик из Калининграда. Но сейчас вроде бы кантуется в Риге. И — говорят — не в форме. Так поговаривают, чтобы...

— Чтобы ты не струсил?

— Таня! Разве я похож на труса?

— Ты не похож, раз пригласил меня в кафе.

— А говоришь...

— Ладно! Будь спок на зубок и роток!

— Сама сочинила?

— Без твоей помощи!

— Уже обижаться?

— Какие обиды, когда ты на свою булочку не пожадничал?

— Мне вес держать надо.

— Ладно, «вес»! Знаем мы этот «вес». О тебе говорят: колотушка у тебя что надо — в каждом кулаке по нокауту.

— Не в каждом. И далеко не всегда. А вот в этот раз очень желательно. Хотя бы на полнокаута, на четверть. Чтобы раз по мозгам, и... Бой ведь в мой день рождения. В это воскресенье.

— 16 апреля?

— Ага. Придешь?

— А выступишь?

— Ради тебя постараюсь.

— Ох ты, комплиментарщик какой! Лучше скажи, что тебе было так некогда? Ты же меня с работы увел, как джигит свою красу ненаглядную.

— Понимаешь, мама твоя, когда я с ней толковал в Союзе писателей, обронила страничку из газеты.

— «Слово»?

— Она самая. На! Держи, — передал выцветшую вырезку, сложенную вчетверо.

— Вот это да! А то мама за голову хватается и холодными компрессами лечится.

— Понятно.

— Ой вы, гуси, куси-пуси! Что тебе «из ничего» понятно?

— Как тебе это сказать, — стал я налаживать мостки к главному, что меня занимало. — Все эти аристократические леди-миледи такие.

— Какие? — Таня пока еще не доходила умом до моих неуклюжих намеков.

— Слабонервные. Психоватые. Потеряют что — сразу в обморок. Одним словом, голубая кровь бьет им в голову.

— Что-что? — опять засмеялась Таня и чуть не подавилась крошками от булочки.

— А то! — раздражался я все сильнее. — Пора уже зарубить на носу, принцесса, что у княгинь голубая кровь!

— Это в книжках.

— Не важно, в книжках или не в книжках! А важно другое: твоя мама сказала мне, что она княгиня. Значит, и ты княгиня, хотя об этом и не догадываешься.

— Почему? Будь спок на зубок и роток, не княгиня, а княжна я, милоч! Я все наше родословное древо знаю до последнего листика.

— А как это быть княгиней в наше время? — не удержался я от своего въедливого вопроса.

— В наше время? Трудно быть княгиней в наше время. Да и княгиня я только наполовину. По маме. А по папе...

— Из простых?

— Из никаких. Я даже не знаю, кто папа. Родилась ведь не на воле...

— Как это не на воле?

— А так, что княгини в советское время рождаются в концлагере. Я же говорила: 14 июня 1941 года чекисты вывезли из Риги всех состоятельных людей. Куда подальше. Вот я там и родилась. В сорок пятом, как ты. Но ты в городе, — произнесла завистливо. — Ты в Оренбурге.

— Тогда Чкалове!

— А я... я в трудовом лагере, под Соликамском.

— Где сидел наш официант Карлис?

— И твой дедушка, Фима.

6

День 12 апреля не задался с самого утра. Никто и не предполагал, что он превратится в праздник. Думали, что начинается новая война: холодная перерастает в горячую. Почему? Из-за поразительной тупости нашего пар-

тийного руководства, собирающегося построить коммунизм в двадцать лет.

Заводская радиоточка, молчавшая чуть ли не месяц, где-то после десяти заладила голосом московского диктора — включены все радиостанции Советского Союза! Слушайте важное правительственное сообщение.

Когда огласят это сообщение, никто точно не знал. Но знали: война! И знали: сообщение о том озвучат в полдень.

— Так было в сорок первом, — вспоминали старые работяги, пережившие то лихолетье. — Ровно двадцать лет назад, вот ведь, мать твою, совпадение!

— По радиоточке непрерывный бубняж...

— Как сейчас...

— Да-да, слушайте важное правительственное сообщение. А потом — бац, и Молотов — да-да, ровно в полдень. «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...»

Во втором цехе рижского завода №85 ГВФ затихал перестук молотков. Разговоры вертелись вокруг призывных повесток, эвакуационных передраг, ранений и фронтовых ста грамм из так называемой «наркомовской нормы». Герои минувшей войны и ветераны оборонной промышленности мало-помалу определялись в какие-то заговорщицкие группки, о чем-то перешептывались, доставая мятые рублевки из кармана.

«Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?»

Мой заводской приятель и спарринг-партнер на ринге Саня, по кличке Сачок, из-за которого я написал стихотворение «Клички», уже дважды пролезал через дырку в заборе и бегал в ближайший продмаг за бутылочкой. В глазах его светила какая-то странная радость. «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов», — напевал он, представляя себя не «бегунком», а сыном полка. Пока что он был «сыном» третьей слесарной бригады. Распивать алкоголь-

ные напитки ему не позволялось, но мечтать не возбранилось.

Вот он и мечтал. По его фантазиям, наш завод гражданской авиации прямо сейчас опять переведут на военные рельсы и мы начнем выпускать МиГи. В одном из них Сачок и спрячется во время перегона на фронт. Так он попадет в летную часть, которая с его боевой помощью даст прикурить янкам-дудл. «Подымайся, народ, собирайся в поход, барабаны, сильней барабаньте!»

Для заводских ветеранов, пришедших на завод в 1941 году, когда он еще назывался 245-й авиационный и дислоцировался на Урале, барабанная дробь Санькиных песен отзывалась хлопаньем сердца. Кое-кто сосал валидол, кое-кто присасывался к бутылочке, «делая компанию» третьей слесарной бригаде.

В нашей компании жестянщиков все, кроме меня, прошли войну по-настоящему, без всякого романтического флера. Дядя Ваня Гребенщиков, мой папа Арон Гаммер, Костя Голиков. У Кости я некогда допытывался — не родственник ли он писателю Гайдару? У того настоящая фамилия тоже Голиков, и он в четырнадцать лет командовал уже полком крестьянской бедноты.

Костю достижения его однофамильца не очень волновали. Он предпочитал работать на заводе, получать вовремя зарплату и никакими полками не командовать. А сейчас, когда включены все радиостанции Советского Союза и завертелась такая несусветная нервотрепка, ему хотелось как-то оповестить жену, что все у него в порядке.

Казалось бы, что за дичь? Вся страна в напряжении от непонимания происходящего, а передовой труженик рижского завода №85 ГВФ товарищ Голиков пребывает в примитивных мыслях о том, как сообщить жене, что с ним все в порядке. Кто не жил в Союзе, этого не поймет. А тому, кто жил, и объяснять ничего не надо. Но заметить, что такие же мысли обуревали и моего папу Арона Гаммера, и дядю Ваню Гребенщикова, и — всех, всех, всех! — это просто-напросто необходимо.

Разумеется, директору завода Сухорукову хорошо. У него под рукой телефон.

Понятно, и начальнику второго цеха Валееву неплохо. Тоже, небось, обеспечен связью с женой.

А каково рабочему классу, воспетому в пес-

нях, но брошенному на произвол судьбы? И это в столь переломный момент истории, когда американцы, наверное, надумали выручить Пауэрса — своего воздушного аса и по совместительству шпиона.

А что? Долго ли их рейнджерам высадиться десантом на крышу той тюрьмы, где питомец их Генштаба ныне кормит клопов? Ведь совсем недавно, несколько месяцев назад, 19 августа 1960 года, его приговорили к десятилетнему сроку отсидки. За какие прегрешения? Напоминаю. 1 мая на разведывательном самолете U-2 в 5:36 по московскому времени Пауэрс вошел в воздушное пространство СССР. Произошло это в двадцати километрах юго-восточнее города Кировобад. Полет U-2 проходил на высоте 20000 метров по маршруту Аральское море — Свердловск — Киров — Архангельск — Мурманск и должен был завершиться на военной авиабазе в Буде, Норвегия.

По самолету Пауэрса было выпущено восемь ракет. Первая оторвала крыло, повредила двигатель, хвостовое оперение. Вдогонку за первой пошла вторая, за ней третья, четвертая и так далее — для надежности. В результате был сбит советский истребитель МиГ-19, который летел ниже. Командир этого корабля старший лейтенант Сергей Сафронов посмертно награжден орденом Красного Знамени. Погиб еще один советский летчик, вылетевший на перехват шпиона, — Игорь Ментюков. А Пауэрса все-таки сбили и впоследствии, 11 февраля 1962 года, обменяли на Вильяма Фишера — Рудольфа Абея, не шпиона, разумеется, а советского разведчика.

Такова история. Но и реальность такова, что отголоски этой истории мигом облетели весь завод, пока диктор вещал раз за разом: включены все радиостанции Советского Союза.

Напряжение нарастало. Люди посматривали на репродуктор: когда он, наконец, разрядит грозовую атмосферу на огороженном забором заводском пространстве либо призовет всех под ружье?

Папа волновался за маму: «Вторую эвакуацию она не выдержит».

Я волновался за Борю, моего младшего брата, находящегося сейчас в школе. Его класс проходил повесть Гоголя «Тарас Бульба», и над его головой — без всякого намека на предстоящую войну — осколочно носилось: «Жид! Янкель, жидовская морда!» Что же будет, случись война?

А вся наша бригада жестянщиков, это я да папа, плюс дядя Ваня Гребенщиков и Костя Голиков, беспокоилась за Сильву, мою старшую сестру. Она была на важном месяце беременности, а ее муж Майрум проходил переподготовку в воинской части, где ему — резервисту — должны были присвоить первое офицерское звание. Так что в случае войны он мог и не вернуться домой, а прямым ходом отправиться на передовую.

Чего там скрывать? Столь мощная обкатка нервов поставленным дикторским голосом могла привести Сильву к довольно печальным последствиям. Поэтому, согласуясь с боевой обстановкой, меня двинули на разведку ее состояния здоровья. В проводники выделили Санию-Сачка, дали две копейки на телефонный разговор и напутствовали:

— Ты там аккуратнее с ней. Не болтай чего не подумав. Успокой и дай понять, если война, то — малой кровью на чужой территории.

— Дядя Ваня, так ведь Сталин говорил.

— Сталин говорил, а мы воевали.

Сачок вывел меня потайным ходом к неприметному лазу в заборе, отодвинул доску и протиснулся наружу. Я выволокся следом за ним и рванул к ближайшему телефону-автомату, горделиво торчащему в центре улицы Анри Барбюса, рядом с продмагом.

Сачок махнул в магазин, я к застекленной будке бело-голубой расцветки и давай наворачивать диск.

— Сильва! Сильва!

— Что случилось?

— Ты радио слушала?

— Нет! А что?

— Да ничего, — замылся я, — тогда и не слушай.

— А что? Что произошло?

— Ничего, все в порядке.

— Нет, ты скажи! На какой волне слушать?

— Включены все радиостанции Советского Союза! — бухнул я и внезапно осознал: свободные от заводской зоны люди вполне вероятно и не догадываются о тарараме, поднятом сегодня по радио.

— Сейчас включу, — сказала Сильва.

— Но там ничего серьезного. Папа говорит, это просто проверка на бдительность.

— Да? — послышалось встревоженное. И вдруг, перекрывая Сильвин голос, донесся бой куран-

тов и накачанный голос Левитана, столь же узнаваемый, как в кинотеатре на просмотре фильмов о Второй мировой, провозгласил: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Тихо, чтобы не спугнуть эхо от голоса Левитана, я повесил трубку и оглянулся на выбежавшего из магазина Саню-Сачка.

— Наши в космосе! — кричал он, держа на отмашке оружие пролетариата — бутылку «Столичной».

7

Так уж мне повезло, что шестнадцатое апреля выпало в 1961 году на воскресенье. Заг закрыт, районное отделение милиции закрыто. Паспорт я получал на следующий день, в понедельник — в «тяжелый день недели». Почему он «тяжелый», я еще не догадывался из-за отсутствия тяги к спиртному. Но в то, что он непременно — «тяжелый», верил. Да и как иначе, если об этом под рефрен «трубы горят!» нередко твердили наши передовики пятилетки, когда по утрам, поживаясь, передевались в рабочие спецовки. Я по малолетству работал всего четыре часа, заканчивал смену в полдень. Поэтому, еще до начала занятий в вечерней школе, мог себе позволить осуществление мечты, чтобы, подражая Маяковскому, вытащить через час-другой в классе «из широких штанин» серпастый-молоткастый и провозгласить в рифму:

— Смотрите, завидуйте, я гражданин,
мамой рожденный на древнем Урале.
Поэт и боксер, в многих лицах един.
Гляжусь, как шампанские искры в хрустале.

Конечно, совсем неплохо, если бы я мог и днем раньше, в воскресенье, предъявить кадровой комиссии паспорт. А то ведь пришлось демонстрировать расплывающуюся на сгибах метрику, где у меня значилось двойное имя Ефим-Марик, и до-

казывать, что именно сегодня, в день моего рождения, мне исполнилось ровно 16 лет и меня можно допустить к бою на звание чемпиона Рижского гарнизона по боксу среди взрослых. На самом деле и в 16 лет было преждевременно становиться чемпионом Рижского гарнизона по взрослым, но мне очень хотелось, а у кадровой комиссии не было иной альтернативы. Или выпускать меня против Голдвассера, или вовсе не разыгрывать звание чемпиона в «мухе». Решили рискнуть. На принятие этого «исторического» решения повлиял, сам того не подозревая, Юрий Гагарин. Все были охвачены эйфорией от его полета в космос, и понятие «риск — благородное дело» как-то само собой вплелось в мышление многих людей, даже тех, кому прежде несвойственны были непродуманные поступки.

Я был заявлен в первой финальной паре. Разогревался самостоятельно, с Саней-Сачком. Он немного подержал меня на лапах. Я отработал пару финтов, оттачивая кросс правой с уходом за руку противника. Снял тренировочные перчатки, обтерся полотенцем и тоскливо подумал: а где же Танька-встанька? Не пришла, вот зараза! Обманула с первого захода на свиданку. И когда? В день рождения! Причем в какое? Паспортное! Шестнадцать лет стукнуло человеку, и на тебе — у девчонки нос торчком, прошла мимо праздника, не заметила.

Однако, как выяснилось минут двадцать спустя, мои опасения оказались напрасными. Наоборот, они преобразовались в удивление, удивление в изумление, даже в оторопь, а все вместе вылилось в то, что называется «сюрприз».

До начала соревнований объявили эстрадный номер — акробатический этюд «В жизни раз бывает шестнадцать лет!». И на ринг выскочила группа мускулистых мужиков в белых трикотажных трико и одна девушка-девчужка, тростинка на ветру. Кто? Я не сразу поверил своим глазам — Танька-встанька собственной персоной! И пошла куролесить: сальто-мортале, вверх-вниз, туда-сюда. Будто она прыгучая, как мячик. Будто гуттаперчевая, как кукла. Будто это она отмечает свой день рождения, а не я. Заглядишься, забудешь перчатки шнуровать. Впрочем, Саня-Сачок напомнит.

— Давай-давай! Твой выход!

По проходу меж стульев я пошел к центру зала.

Кручу головой: где тут Танька-встанька запропастилась? Да вот же она, обнаружилась на первом ряду, у помоста с канатами, и не одна. Надо же, маму привела, Ольгу Андреевну.

— Здравствуйте! — махнул я головой, ощущая жжение красной краски на мочках ушей.

— Мы за тебя будем болеть!

Я взшел на ринг. Солнечный всплеск света. Озноб в груди, легкое подташнивание — состояние понятное: предстартовая лихорадка. Главное, не обращать внимания. Это не страх, это естественное состояние организма, органически сопротивляющегося мысли, что вот-вот начнут тебя лупцевать по мордворенции без всякого повода. Хотя... повод был. Сам напросился на бой. Сам выставил свой первый юношеский разряд против взрослого, которому осталось подобрать одну-две зачетные победы до мастерского норматива. Ну, и зноби теперь мышцами, опасаясь мордобития. Правда, синяки и шрамы украшают лицо мужчины, как пишут в книжках романтически настроенные спецы словесной эквилибристики. Но ЭТО чужое лицо, доложу со всей откровенностью. Какое? Например, лицо моего соперника Васи Голдвассера. Губа нижняя, справа, в уголке рта, рассечена, явно заметен рубец. Затем, наверное, чтобы прикрыть шрам, и отрасли усы. Бровь побита, белая прожилка по диагонали пересекает ее. Глаза странные. Где-то, совсем недавно, я видел похожие. В тени они серые, а на свету — зеленые, как у кошки. Нос? Нет, с носом все в порядке. Не свернут, как у некоторых. По статистике, кстати, носы сворачивают чаще не десятиунцовой перчаткой, не пригодной к таким метаморфозам жизни, а голым кулаком. И не под песенный разлив гонга, а под звон бутылок, на улице, по пьянке и хулиганке.

Удар молоточком по медному диску. И меня выбросило пружиной на середину белого квадрата. Противник машинально выкидывает навстречу левую. Я синхронно меняю стойку и, обходя его руку, правой достаю по скуле. Раз-два, опять меняю стойку.левой в живот, отход. Затем стандартная двойка — левой-правой. Шаг в сторону. Еще шаг. И вдруг вижу, он теснит меня в угол. Затаскивает между канатами и колошматит-колошматит. Проще говоря, вызывает на обмен ударов, что ему, мужику, раза в два сильнее меня, выгодно при любом раскладе. Один

шальной удар, и до свидания, Фима! А какое «до свидания», когда мне свидание еще предстоит, первое, можно сказать, в жизни, с настоящей, а не придуманной в фантазиях девушкой? При этом не просто с соученицей, а, как выяснилось на представлении эстрадного номера, с настоящим мастером спорта. Да-да, Танька-встанька, а с ней и все мужики из атлетической группы — мастера спорта. В гимнастике, в акробатике это звание и в юности присваивают, не то что в боксе. На ринге мне до восемнадцати лет выше первого юношеского не вырваться. И, честно признаться, если не кривить душой перед самим собой, испытывать некоторый комплекс неполноценности по отношению к Таньке-встаньке. Но это еще когда. А сейчас надо устоять под натиском Васи Голдвассера, вывернуться, уйти из угла и отыграть потерянные очки. Какой же он, выход из угла? У кого какой, а у меня — фирменный, лично мной придуманный и запатентованный в боях. Левую беру на отбив, правую выжидаю. Вот она летит мне в голову. Нырком под нее и двойной боковой левой. Все! Сделано. Выхожу снова к центру ринга.левой-левой, правой, отход. Классика боя. Идем очко в очко. И никакой предстартовой лихорадки. На то она и предстартовая, чтобы мгновенно испаряться с ударом гонга.

Гонг. Минутная передышка. Саня-Сачок машет мокрым полотенцем, впихивает в меня все известные ему секреты бокса. А Танька-встанька — и она подползла под канаты — то ли ехидничает, то ли всерьез: «Где же у тебя в каждом кулаке по нокауту? Дома забыл?»

— Дура! — шикнул на нее Саня-Сачок. — Это против меня... по пацанам у него нокаут... А тут по мужикам. Непробиваемо, понимать надо!

— Сам дурак! — отозвалась Танька-встанька.

Ударил гонг, и меня взяла такая злость, будто это мне кинули в лицо «дурака». Но мне в лицо метали увесистые перчатки. И, чтобы реабилитироваться, необходимо было изыскать пути из «дураков» в «умники». Как это делается на ринге? Прежде всего, не поддаются на обмен ударов, вытаскивают противника на себя, заставляют его промахиваться и оттого уставать не только физически, но и морально. И в тот момент, когда он распахивается и потеряет в связи с этим остроту реакции, подловить его контрударом в челюсть. Я

и подловил. Своим отлаженным, отработанным на лапах с Саней-Сачком кроссом справа.

Признаюсь, сам того не ожидал. Но нокдаун получился и впрямь виртуозный, акробатической четкости, я бы сказал, будто кулак под подбородок Васи Голдвассера мне выправляла сама Танька-встанька.

Кулак мне выправила — точняк, а потом, уже после третьего, опять-таки выигранного мной по очкам раунда, когда этот немец или еврей российского производства подошел к моему секунданту Сане-Сачку, чтобы по традиции пожать руку, и язычком его уязвила.

— Данке шон! — сказала с ехидцей.

— Данке шон! — ответил он, и я вспомнил: парень этот не валенок — военный переводчик.

— Гутен таг! Ха-ха, хи-хи...

Потом Таня еще что-то сморозила по-немецки. И — диво дивное! — не меня, а моего противника потащила к Ольге Андреевне. Гляжу: на первом ряду начались восклицания и пожимания, посыпались какие-то междометия: «ой!» да «ах!». И когда я вернулся из душевой, чтобы досматривать бои за компанию с Таней, в зале уже не оказалось ни ее, ни Ольги Андреевны, ни Васи Голдвассера.

— Уволокли твою принцессу! — с выразительной гримасой пояснил мне Саня-Сачок. — Офицер, не тебе чета! И образованный, сука! Начали тут шпрехать, хоть берись за автомат. Он, Танька, тетка эта в очкариках! Так и хотелось рывкнуть им «хенде хох!».

Мне тоже захотелось рывкнуть. При том с такой невыразимой силой ущемленного самолюбия, что этой же ночью, вместо того чтобы в ознаменование шестнадцатилетия и победы на ринге болтаться с Танькой-встанькой до утра по улицам Риги, я засел дома у включенного торшера и сочинил мстительный стишок о немецком языке и его носителе Васе Голдвассере.

ПОЛИГЛОТ: «И с немецким ходим в ногу»

*Я толмач. Учю стихами.
Так понятней каждый слог.
По-немецки кто я? Хаммер!
А по-русски? Молоток!*

*А проказник Гриша Гросман?
Кто? Большой он Человек!*

*Не смешно? Но так он прозван
По-немецки на весь век.*

*А чумазый самый в классе —
Балаболка и балда?
Как фамилия? Голдвассер!
Золотая, мол, вода.*

*Но искрится смехом Вася,
Будто в глазах спрятан кварц.
— Лишь по папе я Голдвассер,
А по маме «Черный» — «Шварц».*

*Вы — дразниться? Стану буквой!
Берегись! Начну пугать!
«Хенде хох!» — поднять всем руки!
«Хальт!» — Ни с места! Всем стоять!*

*В классе выслушали Васю.
Но под смех, не под испуг.
— Эх ты, Вася! Эх ты, Вася!
Хватит, Вася! Все! «Гинук!»*

Пояснения

Фамилия Гаммер звучит по-немецки Хаммер. «Гинук!» на языке идиш «Хватит!». В идиш это слово попало из немецкого, поэтому немцы понимают, что «хватит», когда им говорят «гинук!». Удивительно, но и другие люди тоже понимают, когда им говорят «гинук!». Международное слово! Все его понимают!

8

На следующий день, так и не оправившись от «измены» Таньки-встаньки, я пошел получать паспорт.

Милицейский участок принял меня в распротертые объятия, так как добровольно туда мало кто являлся. Даже за «серпастым-молоткастым». Чаще в сопровождении мамы или бабушки, чтобы вместе с паспортом не всобачили и пятнадцать суток за распитие спиртных напитков в неподходящем для этого месте. Согласитесь, лаковая, желтого цвета скамеечка на втором этаже отделения милиции Октябрьского района — не совсем подходящее место для принятия вовнутрь сотенки капелек

чистой как слеза. Но почему-то именно здесь, именно в рабочее время сыскарей и фискалов, рисковали глотнуть пряником из бутылки первые свои сто «взрослых» грамм обладатели только что выданных паспортов. Откуда мода такая взялась, никто не догадывался. Рабочая версия — от храбрцов-второгодников из «моей» 19-й средней школы рабочей молодежи, еще не воспетых в фильме «Большая перемена». Но шкодливая мода эта портила общую картину праздника. Ведь и старшему лейтенанту Голубко Ивану Енисеевичу не хотелось после официальных поздравлений и пожатий руки юного гражданина Союза Советских Социалистических республик гоняться потом за ним, несовершеннолетним проказником, чтобы оштрафовать за алкогольное святотатство на скамеечке, под портретами членов Политбюро.

Отсюда и неудивительно, что он, начальник паспортного стола, востроносый усатик с введливими, как буравчики, глазами, подозрительно посмотрел на меня, когда я вошел в кабинет: без родителей и боковой карман пиджака оттопыривается.

— Что у тебя там?

— Все свое ношу с собой! — отрапортовал я узаконенной даже в милицейских кругах шуткой из какого-то кинофильма.

— Если будешь носить чужое, арестуем, — совсем неожиданно среагировал милиционер. — Покажи, что у тебя там в кармане. А то тут носят-носят, затем распивают.

По моему смущенному виду Шерлоку Холмсу местного разлива показалось, что он попал в точку: сейчас я вытащу на белый свет чекушку «Московской» и повинюсь в пагубных пристрастиях к напитку его отцов и дедов. Но милицейское разочарование было вровень с Эйфелевой башней. Из кармана я извлек совершенно незнакомый предмет: полукруглую тубу — правильной сказать, картонный пенал с вложенной в него, чтобы не мялась, рукописью.

— Стихи. На машинке отпечатанные.

— Что-что? А где водка?

— Какая водка?

— М-да, — сказал милиционер. — Младое поколение, незнакомое... Так, что ли?

— Я за паспортом.

— Покажи стихи.

— Зачем они вам?

— В газете тиснем, нашей, на «Боевом посту».

— А что? Мне уже шестнадцать лет. Со вчерашнего дня.

— Не понял.

Судя по всему, старший лейтенант Голубко Иван Енисеевич не догадывался, что молодых поэтов принято публиковать не раньше шестнадцати, чтобы не составлять конкуренцию Пушкину. Он протянул руку, вынул из тубы свернутые в трубку стихи. Прочитал и огорченно вздохнул:

— «Первая зарплата» — есть. «Старые боксерские перчатки» — есть. Где же по линии гражданского долга? О паспорте?

— О паспорте — Маяковский.

— А я думал...

— Товарищ старший лейтенант, но я ведь еще не получил паспорт!

Честно признаться, причина была в другом. После Маяковского писать о паспорте стало бессмысленно. Представьте себе, что на твой счет запишут люди, в особенности те из них, кого величают «девушками», когда ты провозглашишь: «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза». А?

Милиционер огорченно свернул стихи в трубку и вернул мне их вместе с пеналом.

— Метрика!

Он открыл дверцу металлического сейфа, вынул чистый бланк документа, который я буду носить в том же боковом кармане, где и стихи.

Черная обложка, блестящие буквы — ПАСПОРТ.

— Ну, что пишем? Фамилия. Какую берем? По линии папы? По линии мамы?

— Гаммер.

— Понятно, по линии папы, — и, обмакнув ручку в миниатюрную бутылочку с тушью, аккуратно вывел «с нажимом», как нас учили в первом классе, мою фамилию. — Имя? У вас тут в метрике вписано два имени. Марик и Ефим. Какое берем?

— А нельзя ли оба?

— Два не положено. Разрешено только одно. Или по линии Марик. Или по линии Ефим.

— Меня всю жизнь звали Фимой, — промямлил я.

— Значит, пишем как в жизни. Теперь отчество.

— Аронович.

- Это понятно. По линии папы.
- Другой линии у меня нет.
- Национальность. И тут у вас нет другой линии.
- Другой и не требуется.
- А не похожи.
- Это потому что родился на Урале. В Оренбурге.
- В метрике Чкалов.
- Сейчас Оренбург.
- Оренбург не пишем. Пишем Чкалов. Все должно быть по линии метрики.
- Товарищ старший лейтенант! Чкалова уже нет на карте! Он просуществовал только с 1938 года по 1957-й.
- Не важно. Нам своевольничать не положено. Где родились, туда мы вас и определим.
- Но даже о Гагарине из-за переименования города Левитан сказал по радио, что он с 1955 года учился в Оренбурге, в 1-м Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени Ворошилова. Не в Чкалове, имейте в виду. А в Оренбурге. И не я вам это говорю. А Левитан.
- Но то Гагарин! Такой цирковой номер! Вокруг шарика!
- Я тоже весь из себя — цирковой номер. Посмотрите, ношу не одно имя, а два. Будто Пат и Паташон в одном лице. Родился там, не знаю где. Тогда Чкалов, сейчас Оренбург. Сплошной цирк! К тому же мой дядя — Ефим Янкелевич, в честь которого я назван, был директором цирка.
- О! — сказал Голубко Иван Енисеевич. — Вы из цирковой династии?
- Полагаю, что да. Дядя Фима — директор цирка. Тетя Фаня, его жена, — человек-оркестр. Это в тридцатых годах. Сейчас у нее музыкальный номер с лилипутами.
- Ладно, убедил с лилипутами. Если такой цирк... и даже Левитан по радио...
- Так в моем паспорте в графе «место рождения» появился город Оренбург, которого в 1945-м, когда я появился на свет, не существовало.
- Так осталось при мне имя Ефима Янкелевича, мужа папиной сестры Фани Гаммер, бездоказательно обвиненного в том, что он якобы японский шпион, и умершего от разрыва сердца тогда же, в 1945-м, после зверских допросов.

Вечером на переменке, когда я демонстрировал новенький паспорт одноклассникам, Танька-встанька акробатически, тройным перекидным прыжком через голову, прошла мимо нашей группы.

— Фима! Дай посмотреть, на обмен, — повернулась ко мне лицом, расстегнула змейку на приталенной курточке, чтобы не мешала распаренному дыханию, и вытащила из заднего кармана гимнастических, в обтяжку, брюк свой паспорт.

Я отвернулся от «изменщицы», испытывая непреходящее чувство обиды. «Надо же, вместо того, чтобы радоваться моей победе, предпочла общество моего противника — офицер, ну как же! — и ушла, не простившись».

Но Таня не отступала.

— Давай объяснимся! — подошла к нашей компашке.

Мои пацаны разом слиняли к соседнему окну. Затем, будто записные астрономы, стали старательно наблюдать за звездами в ночном небе, а уши локаторами направляли на нас.

Не выдержав, я прыснул в кулак. Рассмеялась и моя обидчица. Нервное напряжение снялось волшебным образом.

— Твои басни — не в корм соловью, — буркнул я.

— Такому, как ты?

— Такому, — настойчиво повторил я, все еще не желая терять выигрышную позицию оскорбленного человека.

Таня теребила меня за пуговицу пиджака.

— Давай сбежим, ну их! — повела глазами на моих одноклассников.

— А твой лейтенантик? — не унимался я. — Теперь пусть он сочиняет: «Я вас любил, безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим?»

— Он не мой! Мамин! Как услышала, что тебе драться с Васей Голдвассером, сразу напросилась сюда, посмотреть...

— Мели, Емеля! Мама ему в мамы годится.

— Еще и в репетиторы, Фима.

— Какие репетиры?

— Эх, ты! А говорил, дедушка сидел в лагере под Соликамском.

— Сидел!

— И ничего не рассказывал?

— Дедушки внукам мало рассказывают.

— И то правда, не мамы.
 — А что — мамы? — заинтересовался я.
 — А то! Мой лейтенантик, на самом деле, сын заместителя начальника лагеря по воспитательной работе полковника Голдвассера. Да-да, того, где сидели твой дедушка и моя мама. Вот так оно в жизни! А ты... ты...
 — При чем тут я? Сын и сын, мне до лампочки.
 — А маме как раз не до лампочки! Ведь этот — как его? — полковник... Этот Олег Федорович, узнав, что мама свободно владеет немецким, взял ее из «доходяг» в свой дом. На роль гувернантки. Чтобы и его балбес Вася — тогда ему было лет шесть-семь — шпехать научился без запинки.
 — То-то у этого балбеса глаза на твои похожи, — брякнул я, не подумав. — Такие же зеленые.
 — Что?
 — А ничего! В бою смотришь не на руки, а в глаза! Чего там не увидишь! Вот и увидел: при свете зеленые, как у кошки, в тени — серые. Обрядить бы его в твои спортивные брючки да в курточку, сбрить усы, и форменно — ты. Посмотришь в зеркало, убедишься.
 — Сам смотришь! У тебя глаза тоже не карие, как у ваших!
 — Много ты знаешь о наших! У царя Давида, да будет тебе известно, глаза были голубые, как у меня. И волосы светлые, и рост такой же — метр шестьдесят три.
 — Библия?
 — Моя родословная от дедушки Фройки!
 — Это тот, который сидел?
 — Фройка не сидел. Фройка всю жизнь молился и толковал Тору.
 — А тот, кто сидел?
 — Тот — Аврум, инвалид Первой мировой войны. Воевал за таких, как ты. Княгинь и графьев. «За царя и Отечество», — как он говорил.
 — За это и посадили!
 — Не заговаривай мне зубы! Строишь из себя княгиню доморощенную, будто другие не в цене. Я, если на то пошло, и сам того... такого же рода, как ты! Царевич, черт тебя подери! Не веришь — спроси у мамы. Она сама меня так назвала.
 — Ладно тебе, будь спок на зубок и роток! — примирительно сказала Таня. — Едва помирились, так опять разругаемся. Я же тебе говорила: папы у меня нет.
 — А отчество?

— Что «отчество»?
 — Ну-ка давай сюда свой паспорт! — Я схватил черную книжицу, которую она так и не засунула назад в карман, открыл на первой странице. — Отчество...
 — Олеговна.
 — Ну вот!
 — И ничего не «вот»! Мама — Ольга, вот и отчество отсюда — Олеговна. Аллитерация, поэт! А если не дорос до толкового словаря, то перехожу на простой язык — созвучие.
 Таня оглянулась на замолкнувших мальчишек у окна. Многие, как она и я, военных годов рождения, и далеко не у каждого поэтому, да и не только поэтому, папы не было.
 — Давай лучше сбежим с уроков. А то — ну их! — подслушивают.
 Санька-Сачок решительно отмахнулся от наговора растопыренными ладонями: мол, нет, не подслушиваем, звездным небом всерьез любимся. Но по блудливой улыбке легко уличить: и подслушивали, и обсуждать сейчас примутся. Лучше действительно сбежать куда подальше, не то придется еще разбираться на кулаках.
 И мы, прихватив под трезвонящий звонок портфели, вымахнули на улицу. Весенняя Рига цвела и благоухала, поила мысли и чувства терпким ароматом деревьев, распускающихся на них первых, еще клейких, листочков. Хотелось не ссориться, а целоваться. Но целоваться нам было еще преждевременно, хотя мы уже и располагали паспортами. И я прочел девушке, которая могла стать первой моей любовью, только что пришедшие на ум строчки:
*— Все билеты проданы в кино.
 Жизнь постиг почти до сожаленья.*
 — А что дальше? — с каким-то напряжением спросила Таня. — Очень! И смысл глубокий...
 — Дальше не придумано.
 — Будь спок на зубок и роток! Сейчас придумаем! — И придумала: «На журнальном столике вино, кофе на запивку и печенье». А?
 — Нет! — мотнул я головой. — Не годится.
 — Хорошо, временем проверим, — сразу согласилась она, чтобы зря не конфликтовать. — Оставим это до другого раза. Но обещай, что последние строчки будут все же за мной. Ты не дописывай. Договорились?
 — Принято и узаконено! — кивнул я, не возра-

жая. В моей голове и впрямь никакого «продолжения» не проклевывалось.

— Тогда... А что, если действительно пойти в кино?

10

Говорят, что детская любовь перерастает в ту, настоящую. Можно подумать, детская — не настоящая. Мне представляется, что она значит для сердца больше, чем некоторые из последующих. Более того, она, именно она, и сохраняется в неизменности на все годы — до самой глубокой старости. Ведь в ней не спрятано ничего, кроме любви, чистой любви души и сердца. Ничего иного — только любовь, только духовная близость. Вот и у нас с Таней не было ничего. Даже в ту пору, когда, казалось бы, могли себе позволить. Позволить могли, но обстоятельства не позволяли.

Помнится...

В 1965 году, когда я служил в армии, в Калининграде проходило региональное совещание молодых поэтов и прозаиков Северо-Запада России. Вел его председатель областного Союза писателей Валентин Ерашов, автор популярной книги «Янтарная комната». Из Москвы прибыли писатели и киносценаристы Эмиль Брагинский и Владлен Бахнов. Было это еще до выхода в свет их культовых фильмов «Берегись автомобиля», сценарий Эмиля Брагинского, и «12 стульев», сценарий Владлена Бахнова. Но и тогда они были достаточно известны по картинам «Василий Суриков», сценарий Эмиля Брагинского, и «Штрафной удар», сценарий Владлена Бахнова.

Незадолго до приезда столичных литераторов газета «Калининградский комсомолец» дала мою подборку из трех стихотворений: «Глобус», «Выходят замуж девочки» и «Старые боксерские перчатки». Многострадальные «перчатки», почти четыре года ждущие публикации в «Советском спорте», впервые увидели свет и незамедлительно прямо на семинаре получили лестные отзывы и Бахнова, и Брагинского. Уже и прежде я замечал, что мое боксерское «я» сразу же привлекает к себе внимание старших литераторов, в особенности тех, кто имел счастье родиться евреем. Наверное, это связано с неистребимым желанием дать по морде в ответ на бытовые оскорбления и невозможностью сделать это из-за близорукости или излишней ин-

теллигентности. Я же, судя по стихам, был лишен мешающих мордобитию факторов. И с легкостью мог совершить то, о чем — предположим — руководители нашего семинара мечтали. Мог совершить и совершал по необходимости, как они догадывались, ставя плюсовые оценки моему стихотворению.

СТАРЫЕ БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

*Перчатки
в проседи соли,
что с потом
впиталась в них,
как память о прошлом,
боксеры
хранят
меж реликвий своих.
Перчатки
лежат устало.
Своей
недовольны судьбой —
их тянет
на ринги спортзалов,
их тянет
в тяжелый бой.
Чтоб снова
с завидным умением,
не попадая
впросак,
распутывать
хитросплетенья
встречных
быстрых атак.
Чтоб снова
отвагой лихого
болельщиков
покорить...
Перчатки,
родившись для боя,
не могут.
без боя жить.*

Читая это стихотворение на семинаре, я и не думал, что оно окажется пророческим: в нем будет угадана моя спортивная судьба, ныне старейшего на земле-матушке действующего боксера. И уж совсем в мозгах не светило, что сейчас откроется дверь и, выманенная моим голо-

сом из коридора, на порог нашего поэтического квартала вступит... Да-да, Таня Абамелек, моя Танька-встанька.

Откуда? Как?

Голос мой осекся. Стихи вылетели из головы. И если бы мне пришлось читать что-либо «на бис», полагаю, ничего бы не получилось.

«Откуда? Как?» — занозой торчало в голове.

Обстановка несколько прояснилась, когда Владлен Бахнов представил мою Таньку. Правда, в несколько неожиданной для меня роли. Она, — сказал, — студентка журфака МГУ, внештатный корреспондент «Литературной газеты», входит в состав их московской писательской группы, будет писать о нашем семинаре.

Писать — это еще когда...

А сейчас...

Улучив свободную минуту, мы тихонько улизнули со сборища потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию. Самой высшей премией для нас в тот момент была эта неожиданная встреча.

По закоренелой рижской привычке я повел Таню в кафе. Но тут надо учесть: нам, солдатам Советской армии, запрещалось посещать «зланные заведения». Везде были раскиданы патрули, и запросто можно было угодить на «губу». Однако у нас, боксеров калининградской спортроты, имелась своя, тайная для патрулей, кафеюшка. Улицу не назову, чтобы не помешать нашим последователям. А ориентиры дам. Надо пройти мимо зоопарка, завернуть налево, на узкую улочку, и в центре ее, справа, откроется заветная дверь.

Здесь, в кафе-стояке, с опаской поглядывая в окно — не появится ли патруль? — я пил самый вкусный кофе в жизни. Отчего он был такой вкусный, я и по сей день не пойму. Может быть, из-за тех неприятностей, которые подстерегали меня, если поймают, как говорится, с полчным. «Полчное» — обычная чашечка, два кусочка сахара, смолянистый напиток, пахнущий, однако, «гражданкой».

Тане я, конечно, не расфусливал о грозящих мне опасностях, если прихватят за столиком. Но в окно зыркал постоянно и на людей, входящих в кафе, тоже посматривал с настороженностью: вдруг кто-то из них надумает вызвать патруль?

Но все было мирно. Офицеры, как правило, в эту «питейную точку» не заглядывали, их инте-

ресовало не кофе, а нечто иное, что бродит под градусом. И мы имели возможность спокойно поговорить.

Я рассказал Тане, что получил многообещающее письмо из Москвы, из журнала «Смена», от заведующего отделом юмора Михаила Андраши. Он обещал опубликовать подборку моих юморных стихов и вызвать меня в Москву на первое всесоюзное совещание молодых юмористов и сатириков.

— Там и увидимся по-настоящему, — сказала, с каким-то скрытым значением в слове, Таня. — У меня в общежитии для тебя всегда найдется местечко.

— Увидимся, — заверил я. — Бахнов и Брагинский тоже зовут на то совещание.

— Тогда дело в шляпе.

— Пока что я в солдатской фуражке.

— Это даже к лучшему. А то, сам понимаешь, пятый пункт.

— Но ведь и у них — пятый!

— У них он позади, а у тебя впереди.

— Голова у тебя, Танька!

— А что?

— Как в воду глядела. На, посмотри письмо от Андраши. Если по правде, то вот как оно все выглядит, — я выложил перед ней на столик фирменный бланк журнала «Смена».

С М Е Н А

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал ЦК ВЛКСМ**

Издательство «ПРАВДА»

Москва, 47, 1-я ул. Ямского поля, 28.

Телефон 3-34-24

Дорогой Ефим!

С каждой вещью я вижу, что Вы талантливый автор. Несмотря на то что мне не удалось ничего напечатать из присланного. Хорош и последний присыл. В Новом году желаю Вам удачи. Постараюсь что-нибудь опубликовать.

Сейчас пока — нет.

С приветом (подпись) М. Андраши

P. S. В вашей фамилии маловато букв для фамилии Гамеров. Ефим Гомеров, а?

- А? — посмотрел я на Таню.
- Бэ! — ответила она.

11

Вечером мы сидели в ее гостиничном номере. Пили чай в прикуску с печеньем. И тут, уже раздухарившись, я со смехом стал излагать, каким подвергался испытаниям, пригласив ее в кафе.

— Ой вы, гуси, куси-пуси! — смеялась и она. — Тебя надо срочно спрятать под одеялом, чтобы враги не приметили.

И что бы вы думали? Отвернула одеяло на кровати, сказала:

— Залезай!

— У нас в армии положено раздеваться за тридцать секунд, — с прежним, но теперь уже несколько нервным смехом отозвался я на приглашение.

— Меня это устраивает, — ответила Таня и, видя мою нерешительность, помогла снять ремень с мундира, ибо — честно признаться — за тридцать секунд я раздевался только во время курса молодого бойца, а сейчас, когда именовался «стариком», эти навыки уже потерял.

Понятно? Во всяком случае, вразумительно.

Дальше вразумительности уже не было.

Нет, произошло совсем не то, чего следовало ожидать. Произошло как раз то, чего ожидать не следовало, самое противное, что только способно придумать должностное лицо, называемое человеком по недоразумению. Проще всего, дежурная по этажу.

С криками, будто ее насилуют, эта квазимода — в сопровождении военного патруля — ворвалась в наш райский уголок.

— Чужие в номере! Двенадцать часов ночи! А они тут...

Начальник патруля, старлей, стараясь выглядеть серьезным и строгим, обратился ко мне:

— Ваша увольнительная!

Через минуту, не теряя ни серьезности, ни строгости, он козырнул девушке.

— Извините за беспокойство.

— А он? — Таня взяла меня за локоть.

— Он пойдет с нами.

— Но он — мой жених!

— На нем не написано.

— Мы завтра пойдем в загс, — соврала, лишь бы спасти меня.

— Завтра он будет на гарнизонной гауптвахте! — офицер отвернул рукав кителя, посмотрел на часы. — Извиняюсь, уже сегодня.

— За что?

— В его увольнительной сказано: до 24.00.

— Он ни в чем не виноват! Это я его привела.

— Вами пусть занимается милиция. А им займусь я! Честь имею, старший лейтенант Заботкин, — ладонь к виску, и по моему адресу прогремело: — Правое плечо вперед, шагом марш!

12

На гауптвахте старлей Заботкин «вручил» меня другому старлею, дежурному по этому «богоудному заведению». Его лицо мне показалось знакомым. Он приказал сдать документы и поясной ремень, чтобы я не повесился от крайнего огорчения. Затем, под ходатайство начальника патруля, откомандировал в «холодную». Тюремная камера была настолько промерзшей, что поджилки, которым пристало дрожать, застыли в теле, как сосульки. Сердце тикало с перебоями, тоже мало-помалу застывая. По всей видимости, мне было не пережить ледниковый период. И, наверное, не пережил бы... Но дверь открылась, и в проеме, под тусклой лампочкой, вырисовался дежурный офицер со знакомым лицом.

— Гвардии рядовой!

— Да! — вскочил я с дощатых нар: ни подушки, ни простыни, ни пледа.

— На выход!

Старлей вывел меня из карцера, провел по коридору до следующей двери.

— Лицом к стене!

Встал.

— Заходи!

Зашел.

— Здесь тебе будет теплее.

Эта камера не выглядела комфортнее. Те же дощатые нары, тумбочка. Но все без изморози на поверхности. В таком температурном режиме можно было жить и при этом не околеть.

— Ночь перекантуешься. А там...

Я с надеждой посмотрел на хозяина моей жизни.

— У меня совещание молодых писателей и поэтов.

— И у меня.

Недаром при первой встрече этот старлей мне кого-то напомнил. Вроде бы это Анатолий Мельниченко из нашего поэтического семинара, по званию он тоже старший лейтенант. Но обратиться — спросить не имею права: не на литературных посиделках. А вот проявить интерес к судьбе своей уставом не запрещалось.

— Утром выпустите?

Старлей потер большим и указательным пальцами подбородок, разглядывая меня сверху вниз.

— «Перчатки, родившись для боя, не могут без боя жить». Так, что ли?

— Так точно!

— Хорошо схвачено.

— Бокс!

— Вот-вот, бокс, гвардии рядовой. А кем, скажите, приходится вам товарищ Голдвассер из штаба армии?

— Кто-кто? — растерялся я, с трудом припоминая ученика Ольги Андреевны и, в согласии с моими доморощенными представлениями, брата Таньки-встаньки по отцовской линии.

— Противник на ринге.

— А мне он сказал — родственник по крови.

— Когда сказал? — выискал я вопросом секундомер на размышление.

— Сейчас. Звонил и сказал.

— Да все мы в боксе братья, — не замешкался я и добавил: — по крови, пролитой на ринге.

— Брат, говоришь?

— Угу...

— По крови, пролитой на ринге?

— Так точно!

— Почему же не написал: «Перчатки, родившись для боя, не могут без крови жить»?

— Почему? По кочану! Не напечатают. Им подавай в стихах техничный бокс — такая теперь мода. И ни слова о нокауте, синяке, тем более крови, даже из носа.

— Кому — «им»?

— Им — в газете «Советский спорт», в журнале «Советский воин», у Доронина в сборнике «Рабочие поэты».

— Выходит, на ринге легче?

— С Голдвассером было легче.

— Хорошо, это ему и передам. Вечерком, когда встретимся.

— А можно — вместе со мной?

— Как это с вами?

— Передайте и меня заодно Голдвассеру.

— Посидите пока здесь, гвардии рядовой. И скажите еще спасибо, что ваше дело не пошло в трибунал!

13

В детстве я мечтал повзрослеть. А повзрослев, Бокунулся в детство.

«Меняю старость на молодость!» — сказал я себе в Иерусалиме, когда мне исполнилось 53 года, и ринулся в бокс.

Одиннадцать последних лет я отмахал на ринге. Сбросил 16 килограммов веса, вернулся в легчайшую категорию, до 54 кг, оброс чемпионскими медалями, побеждая год за годом годящихся мне в дети, потом и во внуки пацанов. И вот сейчас, 13 апреля 2009 года, за три дня до 64-летия, поднимаюсь на серый помост под яркий свет ламп, чтобы снова, уже в двадцать второй раз, отстоять свое, казалось бы, неизменное право называться чемпионом вечного города Иерусалима.

Опять совпало: финал и день рождения, как в 1961-м, когда я, шестнадцатилетний, стал чемпионом Рижского гарнизона по взрослым. Только в этот раз все наоборот: я — «дедушка русского бокса», а противник мой — «младший сын бокса израильского», производного от нашего, завезенного сюда в семидесятые-восьмидесятые годы минувшего уже столетия...

И в прямом смысле, «сын этот младший» годится такому «дедушке», как я, во внуки. Но кроме скорости вряд ли способен противопоставить моему непробиваемому опыту — все же пятьдесят лет на ринге, это не шутка.

Потому я не стану описывать бой, а приведу отрывок из статьи, так сказать, третьейского судьи, известного израильского журналиста и специалиста по боксу.

Элияху БЕН-МОРДЕХАЙ

Из статьи
«ПАМЯТИ ЕВРЕЙСКОГО ТРЕНЕРА»

(В Иерусалимском клубе бокса состоялось открытое первенство столицы, посвященное памяти Сиднея Львовича Джаксона, заслуженного тренера СССР, человека-легенды, одного из основателей прославленной советской школы бокса.)

В одной из первых финальных пар бились за золотую медаль Ефим Гаммер и Рон Крапивник. Надо сказать, что каждое появление Гаммера на ринге неизменно вызывает бурные восторги зрителей. Допустимый возраст в любительском боксе — 34 года, Гаммер же чуть ли не вдвое старше. Израильская Федерация бокса, в виде исключения, дает согласие на его участие. Гаммер лет сорок с лишним назад был уже мастером спорта, чемпионом Латвии, Прибалтики, Советской армии. А еще знаменит Ефим своими разнообразными талантами. Работая на радио «Голос Израиля», он умудряется сочинять стихи, рисовать картины, издавать книги рассказов, повестей и романов. В 2008 году он стал лауреатом международной Бунинской премии. Но боксу, как первой своей любви, предан всей душой — многократно был чемпионом Израиля и Иерусалима.

Рон Крапивник выстроил свой бой тактически грамотно и все-таки потерпел поражение. Полагая, что «дедушка» Гаммер не выдержит высокого темпа, он с первым ударом гонга предложил высокий темп. Но случилось наоборот: будучи, как всегда, в отличной форме, Ефим взял бешенный темп, все три раунда шел на пару очков впереди. Золотую медаль и Кубок «За самый красивый бой» вручал Гаммеру старший тренер всеизраильского «Маккаби», судья международной категории Арик Друкман.

Опубликовано в еженедельнике «ВРЕМЯ НН» — приложение к газете «НОВОСТИ НЕДЕЛИ», Израиль, 14 мая 2009 года

14

В золотой чаше кубка лежал свернутый в трубочку листик из записной книжки. В раздалке я развернул его и с удивлением прочел:

СТИХИ НА ДВОИХ

Фимочка, мальчик, 16 лет:

«Все билеты проданы в кино.
Жизнь постиг почти до сожаленья».

Татьяна Олеговна, 64 лет:

«На кухонном столике вино,
Ломтик сыра, кофе и печенье».

«Танька-встанька!» — ахнул я и кинулся в спортзал.

Где она? Как сюда попала?

На ринге шел бой моего воспитанника и временами спарринг-партнера Толика, по-израильски Натана, которого я самолично привел в клуб, когда увидел, как он героически дрался в сквере с кучей мальчишек, раскрошивших камнями стекла списанного автобуса.

— Чего вы? — кричал Толик. — Тут люди ходят! Босиком!

— Живы будут — не умрут! — отвечали пацаны.

Я отогнал их от оставленного для развлечений детворы автобуса, а Толика, представившись тренером по боксу, привлек к тренировкам. И вот его бой, причем не какой-нибудь проходной, а титульный — за звание чемпиона Иерусалима.

Надо сказать, боксировал он грамотно, как я его и учил. Не бросался с психом наружу, в безумные атаки, а вызывал противника на себя и, уходя в сторону от ударов, кроссами, через руку нападающего, набирал очки. Но не это — к чему я уже привык, сам обучал! — вызвало внезапное, ностальгической волной принесенное волнение. При свете ярких ламп я впервые увидел то, что не замечал прежде в тренировочных боях, при не столь мощном освещении. Глаза его — «моего Толика», попадая в поле яркого света, превращались из серых в зеленые и светились как у кошки... Или? Правильнее сказать, как у его бабушки Татьяны Олеговны. Да и кем могла быть ему ныне моя Танька-встанька, если не бабушкой? Мамой — поздно, бабушкой — в самый раз. Но где она, где? Разве узнаешь ее сегодня, сорок с лишним лет спустя? Ау, старушки-пампушки! Вас здесь пруд пруди! И, поди,

каждая когда-то была девчужкой-хохотушкой, а то и гимнасткой-акробаткой. Но теперь? Теперь за массивными габаритами тела упрятаны стати юных проказниц, и не разглядеть, в какой из собравшихся в зале бабушек досиживает ныне свой век гуттаперчевая княжна Абамелек — Танька-встанька. Только и остается наблюдать за боем моего ученика, заодно и литературного героя, рассказ о котором я сочинил и опубликовал в московском еженедельнике «Еврейское слово», №9 (427), 10-16 марта, 2009 года.

НА РИНГ ВЫЗЫВАЕТСЯ... (рассказ для будущих чемпионов)

Ссылка: <http://www.e-slovo.ru/427.html>

Жили-были два боксера.

Один старый-престарый, увешанный медалями. Лев Борисович.

Другой — совсем юный. Настолько юный, что даже не подозревал, что он уже боксер. Толик.

Они жили в одном городе. Бродили по одним и тем же улицам. И никогда не встретились бы, если...

Как они встретились — это тайна. Но вам, ребята, я — так и быть! — раскрою ее.

Случилось это под вечер, когда старый-престарый боксер Лев Борисович возвращался с тренировки домой. У своего дома, на пустыре, он заметил мальчишек, бросающих камни в разбитый автобус. Камни свистели в воздухе, рассыпали на осколки оконные стекла. А мальчишки хохотали, смехом своим отмечали каждое меткое попадание.

Старый-престарый боксер Лев Борисович собрался было приструнить шалунов. Но не успел и рта открыть, как до него из-за спины донеслось:

— Прекратите! Людей пораните!

«Кто это?» — подумал старый-престарый боксер и оглянулся. Позади стоял мальчик лет семи-восьми. Он посапывал носом, сжимал кулаки и медленно, борясь со страхом, приближался к хулиганам. А те с удивлением взирали на маленького заступника автобуса.

— Эй, ты, человек-козявка! Катись туда, откуда пришел!

Но мальчик подступал все ближе и ближе. Кулаки сжаты, на лице решимость.

— Я никуда не уйду! Я здесь живу. И никакой я вам не человек-козявка. Я Толик.

И что? Испугались его? Нет, никто не испугался «человечка-козявку».

— Уходи! Не мешай нам!

— Вы тут не живете!

— Пусть мы тут не живем. Пусть тут живешь ты. — К Толику подошел самый рослый мальчишка и небрежно толкнул в грудь. — Но все равно не мешай нам веселиться.

— Это не веселье!

— А если дать тебе по шее? Что тогда? Тогда будет веселье?

Не знаю, о чем в такой незавидной ситуации думал Толик у разбитого автобуса. Но знаю, он не отступил от обидчика. Ни в первый момент, когда ему сказали: «Иди ты откуда пришел!» Ни во второй момент, когда его толкнули в грудь. Ни в третий, когда он поскользнулся на осколках стекла и упал, поранив руку.

— Ах, вы так! — разъярился Толик.

И что? Да ничего! Маленький Толик, оскорбленный прозвищем «человечек-козявка», набросился разом на всех пятерых обидчиков. И давай их дубасить. Одному двинул в ухо. Другому по животу. Его окровавленная от порезов рука мелькала в воздухе и попадала точно в цель.

Хулиганы оказались храбрыми лишь на словах. Не выдержав напора «человечка-козявки», они разбежались: кто прикрывал ладонью расквашенный нос, кто держался за ушибленное ребро.

А маленький Толик, их победитель, так и не получил в отместку ни одного сильного удара. Он был настолько увертлив, что кулаки противников только свистели над ним, не задевая головы.

И тогда, видя, как трусливо убегают мальчишки, старый-престарый боксер Лев Борисович понял, что встретил природного чемпиона.

— Хочешь быть боксером? — спросил он у Толика.

— А кто не хочет? — ответил мальчишка.

И старый-престарый боксер Лев Борисович приступил к обучению новичка всем премудростям любимого вида спорта.

— Этот удар, — объяснял он, — называется хук, а этот апперкот. Ниже резинки трусов бить нельзя. На боксерском языке это — «ниже пояса». По затылку тоже бить нельзя. Получишь замечание судьи.

— А куда бить можно?

— В голову и грудь.

— Начали? — наседа на тренера нетерпеливый ученик.

— Начали!

И маленький Толик, надев кожаные перчатки, стал бить своего учителя в голову и грудь. В боксерском зале, в отличие от школы, это позволено.

— Bravo! — сказал учитель бокса. — Из тебя выйдет толк.

Старый-престарый боксер Лев Борисович учил маленького-премаленького ученика месяц, два, три. А потом, когда Толик победил всех других мальчиков в тренировочных боях, предложил ему выступить на чемпионате города.

— Не побоишься?

— Не побоюсь!

— Но у других мальчиков больше боевого опыта.

— А у меня, — не задумываясь, ответил Толик, — больше боевого духа.

И что? Да ничего! Что сказал вслух, то и решил доказать на ринге.

Но тут надо открыть боксерский секрет. Каким бы ни был смелый спортсмен, он всегда перед боем волнуется. Это называется «предстартовая лихорадка». Ее никто не способен избежать, ни новичок, ни мастер спорта.

Просто мастер спорта это знает и не переживает, что перед боем его охватывает озноб, а по телу словно бегают мурашки.

В противоположность мастеру спорта новичок этого не знает. И испытывает душевные переживания из-за того, что его могут счесть за труса, так как он перед боем чувствует озноб, а по телу словно бегают мурашки.

Не знает новичок и того, что с первым ударом гонга все страхи сами собой улечиваются.

Не знает и поэтому с напряжением ждет, когда вместе со словами «На ринг вызывается...» прозвучит его фамилия.

И вот она прозвучала.

— Пошли? — сказал старый-престарый боксер.

— Пошли!

Волнуясь, Толик вышел на ринг.

Волнуясь, пожал перчатки противника.

Волнуясь, ждал в своем углу гулко-го звона гонга.

— Первый раунд! — произнес рефери.

Зазвенел гонг, и волнение мгновенно ушло. Толик легко передвигался по рингу, осыпал противника градом ударов. Хук — слева, апперкот —

справа, «нырок» под руку противника. И еще удар... И еще...

А старый-престарый боксер Лев Борисович наблюдал за своим воспитанником, сидя на табуретке у канатов ринга. Его плечи дергались в одном ритме с атаками Толика. Со стороны казалось, что это он наносит хук — слева, апперкот — справа и даже делает «нырок» под руку противника.

Болеельщики кричали:

— Толик! Толик!

Но Толик не слышал болеельщиков. Он слышал только себя. А в себе — голос тренера:

— Левоу, еще раз левоу. Шаг назад и тут же вперед. Левоу в голову, правоу по солнечному сплетению.

Противник схватился руками за живот, согнулся, подрагивая коленками.

— Стоп! — остановил бой судья на ринге. — Нокдаун!

Под взмахи руки он вел отсчет секунд.

— Один, два, три...

Толик поднял перчатки на уровень подбородка в ожидании команды «бокс!». Но второго натиска не потребовалось. Тренер его противника выбросил полотенце, признав тем самым поражение своего ученика.

Старый-престарый боксер Лев Борисович выскочил на ринг и в знак победы поднял высоко над головой Толика, чемпиона нашего города в наилегчайшем весе, маленького-премаленького человека, которого уже никто и никогда не осмелится назвать «козьявкой».

15

Я последовал примеру своего литературного героя. Подобно Льву Борисовичу выскочил на ринг и в знак победы поднял высоко над головой Толика, юного чемпиона самого древнего на земле города.

И громко, на весь зал, сказал:

— Танька! Не отдам, и не проси!

С третьей скамейки, что у самой стены, доносилось:

— Фимочка! В это кино все билеты давно уже проданы...

И мне навстречу поднялась женщина.

На первый взгляд, Танька-встанька в ней и не ночевала. Но если присмотреться, то сходство вскоре обнаруживалось. Разрез глаз. Некоторая, приятная моему глазу, «спортивная» продолговатость щек. Стрижка шестидесятых годов, изрядно, правда, посеребренная. Сравнительно узкая талия. И — о, диво дивное! — те же, во всяком случае по внешнему виду, гимнастические брюки. И курточка — да-да, такая же, как некогда в вечерней школе! — приталенная. И сережки. Ну, разумеется, те самые, которые я подарил: серебряные лиры на цепочке. Вот ведь удивительно: будто оделась со значением, «узнаваемо», чтобы признал первую свою любовь без всякого напряжения для мозгов и памяти. Что тут сделаешь? Признал! Да и как не признать, когда Толик схватил меня за руку и поволок к ней:

— Бабушка! Смотри, вот моя медаль, а вот мой тренер Фима. Я тебе о нем рассказывал.

— Фимочка, здравствуй! — сказала Татьяна Олеговна и обняла меня.

Говорят, что женские губы не теряют своей эластичности до преклонных годов. Но пока на личном опыте не убедишься в этом, не поверишь. Я убедился. И подтверждаю: женские губы не теряют своей девичьей эластичности. От себя добавлю: и притягательности.

— Здравствуй-здравствуй, Таня!

Вечером мы уже сидели в моей квартире и через стеклянную дверь любовались дальними видами на Вифлеем — Бейт-Лехем. В ближнем парковом пространстве, высвеченном фонарями, эскизно просматривались деревья и какие-то сооружения, предназначенные для развлечения детворы: качели, горки, лабиринты.

Здесь, в этом скверике, я познакомился с Толиком, когда он подрался с мелкими местными хулиганами. Познакомился, не подозревая, что мне предстоит заново знакомиться и с Таней — его бабушкой.

Она насмешливо, но как-то ностальгически, словами и не объяснишь, посматривала на меня, попивала маленькими глоточками коньяк и чмокала губами, будто закусывала чем-то вкусненьким. А «закусывала» она отнюдь не шоколадкой, а строчками давнего стихотворения.

— Все билеты проданы в кино.

Жизнь постиг почти до сожаленья.

Я подхватывал:

— *На кухонном столике вино,
Ломтик сыра, кофе и печенье.*

Мои строчки читала она. Ее строчки читал я. Стихотворение на двоих — двигалось урывчато: от нее ко мне, от меня к ней, наделяя шемящей радостью узнавания.

— День прошел. За ним пройдет и ночь.

— И наступит утро без свиданья.

— Чем тебе, любимая, помочь?

— Не забудь меня за миг до расставанья.

В ее последних словах я уловил какой-то намек на нечто, ускользнувшее уже из памяти.

— Будешь? — спросил, подливая коньяк.

Она кивнула.

— А ты?

Я отрицательно мотнул головой.

— Бокс! Нельзя!

— Опять бокс! Тогда нельзя было булочку, — вспоминала она. — Теперь коньяк.

— Тогда коньяк тоже было нельзя!

— А хотелось?

— Любви хотелось!

— И тоже было нельзя, — вздохнула Таня.

— По возрасту, — пошутил я. — До шестнадцати лет вход воспрещается.

— А сейчас? И сейчас по возрасту?

— Возраст — не тетка! — выдал я старое присловье. — Что ты заладила — нельзя да нельзя?! Лучше расскажи, как у тебя, что? Каким ветром занесло в Израиль?

— Мой ветер ты видел. Внук.

— Штормовой ветер! — согласился я. — Он мне картины помогал развешивать в Доме художников.

— Выставка?

— Да, уже третья в Израиле. Одна была и в Риге, еще в 1992 году. Интересное дело, уезжал из Риги в Израиль боксером, победителем первенства Латвии, а вернулся художником.

— Графика?

— В основном.

— А стиль?

— «Гаммеризм». Да-да, «гаммеризм», не смейся. Официально мой стиль, узаконенный в искусствоведческой литературе, в «Лексиконе современных израильских художников». На двух языках — иврите и английском. Издательство «Акад», 1994 год.

— И когда только ты успел стать художником?
— Это особая история. Мистика. Без подготовки не поверишь. Да что это мы все обо мне и обо мне? А ты?

— Я отшормила. Сижу себе тихонько в Москве, редактирую книги.

— Замужем? Сколько детей? Сколько внуков?

— А у тебя?

— У меня? — я немного затушевался. — Двое детей. Взрослых. Дочка родилась в Риге, сын уже в Иерусалиме. А внук пока еще один, дочкин. И, разумеется, иерусалимский.

— Похож?

— Похож.

— Уже боксирует?

— Пока еще рано. Ему еще всего два годика будет.

— Что ж, подождем. Мы с тобой ждали этой встречи почти полвека. Подождем еще лет десять. Старое не ржавеет.

Опять мне послышался намек на давнюю, так и не раскрытую любовь. И опять я потянулся к бутылке, чтобы подлить Тане.

— Надо бы выпить на брудершафт, — сказал я.

— Но ты не пьешь, — сказала она.

— Та-а-нь, не подумай, — чуть было не смутился я, вынужденный «реабилитировать» себя. — Я не всю жизнь такой. Было время, пил в охотку. Но в один миг как отрезало.

— Чего так? Бокс?

— Бокс — это видимая причина.

— Жена?

В Танином голосе я уловил странное напряжение. И понял: на моем пальце нет обручального кольца, вот ее и ломают догадки: женат я или нет?

— Да нет, не жена. С женой я расстался раньше, до бокса. Второго моего возвращения в бокс она все равно не выдержала бы — ей достало и первого! Причина в другом.

— Здоровье?

— И оно. Честно признаться, я себя тогда, к середине девяносто восьмого, довел до ручки. Три пачки сигарет в день! Кашель, как у туберкулезника. Утром, вставая с кровати, нагнуться за тапочками не мог. Сразу выворачивало наизнанку.

— Тогда и пить начал?

— Грамм по двести коньяка, иначе не остановить этот кашель. А мне ведь и кашлять лишнее нельзя.

— Теперь ты уже заладил — «нельзя!», — заметила Таня, пригубив рюмочку.

— Теперь я. Тут дело профессиональное. Радиожурналистика. Сижу в студии, даю позывные своей передачи — «у микрофона Ефим Гаммер, редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Зримая картина?

— Будь спок на зубок и роток! Вижу — не слепая! Иногда и слушаю...

— Вот и представь себе, что будет, если затем вместо вразумительной речи — хрип да храп, кашель, одним словом.

— Случалось?

— Упаси Боже! Еще этого не хватало!

— Пошел, значит, боксом лечиться?

— Не по врачам же ходить!

— Резонно. И все же, зная тебя...

— Да-да, ты права. Основная причина в том, что моего сына Рони 1 июля 1998 года призвали в армию. В боевые части. А у нас тут война бесконечная...

— Остальное понятно. И ты, чтобы в случае чего, встать на место сына...

— В случае чего, Таня... В случае чего... Но слава Богу, не привелось. Было так... Принял я, значит, последнюю рюмочку. Ранним утром 1 июля 1998 года, когда Рони двинулся на призывной пункт. Принял, и все содержимое бутылки — в умывальник. Потом целый месяц ничего не ел. Пока не согнал шестнадцать кг. До 54-х — легчайшего веса. И... Дальше та же чехарда, как в семьдесят восьмом. Надел боевые перчатки — и вперед, чтобы в любой момент быть готовым к бою.

— Это как в твоих стихах о старых боксерских перчатках?

— Смотри ты, помнишь!

— Хвастался еще, что напечатают. Ну и? Напечатали?

— В «Калининградском комсомольце». А там, где обещали поначалу, фигурки! Доронин, которого мне Коля Белов сосватал, чуть ли не десять лет маринвал свой сборник рабочих поэтов. Потом то ли сам умер, то ли сборник приказал долго жить. А «Советский спорт»... С ним другая картина для слабонервных. Газета, гордившаяся тем, что напечатала первое стихотворение Евтушенко, замучила требованиями о переделке. Тогда, после Олимпиады в Риме, взяли направление на «технический бокс». Мои же стихи, спрашивает-

ся, при чем тут? Нет, нашли в них апологетику силового бокса — «перчатки, родившись для боя, не могут без боя жить».

— Не исправил?

— Как тут исправишь? Ради этих строчек и написал тогда в пятнадцать лет это стихотворение. Будто прогноз себе составил на всю жизнь! Удивительно, Таня, но с боксом меня связывает какая-то непонятная — мистическая, что ли? — символика. Посуди сама. Впервые боксом я стал заниматься в тринадцать лет. Ровно через двадцать вернулся на ринг и в тридцать три прошел заново путь от новичка до мастера. А потом, уже в Израиле, и опять ровно через двадцать лет, уже в 53 года, снова кинулся в бокс — во имя спасения души и тела.

— Тогда, в 1978-м... Тогда до меня дошло: «довели его уже так, что не выдержал — кинулся бить морды!»

— Люди! Им без разговора не жить! Все на самом деле проще. Я собирался в Израиль. А здесь предстояло снова служить в армии. Разве я мог себе позволить быть в Израиле солдатом хуже, чем был им в России?

— Резонно!

— Надо было восстанавливаться, и я восстановился.

16

Давнее — расписное. Что только в нем не различишь! Даже то, чего не было, но могло случиться.

Далекая Танька-встанька жива и весела, ходит по лабиринту моих мыслей и ощущений, не путая направления.

А вчерашняя Татьяна Олеговна? Говорили, говорили. Всю ночь напролет говорили, а смутно все, смутно. Только ощущение какой-то волнующей недосказанности. За разговорами я даже не выяснил — замужем? разведена? Все вспоминали и вспоминали о ТОЙ жизни, словно никакой другой и не предполагалось.

Может, и впрямь так? Для нас двоих, соединенных памятью, именно так...

Было — не было?

Крутится, крутится наш земной шарик. Роняет на голову годы вместе с неброской поначалу

седьмой. А волшебного телевизора, чтобы включить и покатиться в былое, не дает в придачу. И смотришь не на экран, смотришь в себя и видишь — или же догадываешься, что видишь — себя, прежнего.

Вот сидишь ты, опустив ноги в Гаюю, а крючок с лакомым червячком — под нос донной рыбе. И слагаешь в уме:

*Подружка дней моих печальных,
Княгиня милая моя.
С тобой хочу любви начальной
В ночной палатке, у ручья.*

А сзади у костра булькает вода в казанке. И девичий голос, чуток злорадничая:

— Вареная картошка — это хорошо. А уха из картошки — это никуда не годится.

— Сейчас, сейчас! — отбихиваешься ты. — Не клюет, зараза!

— А ты поплрой на крючок!

— Плевал уже, уймись!

— Один раз — хорошо, а два — лучше.

Чтобы не перечить, потянул удочку на себя и — надо же такому случиться! — подсек здоровенного окуня. Здоровенного, конечно, по моим соображениям, но отнюдь не «кокши» нашего незамысловатого камбуза.

— Такой мелкой «заразой» не замастеришь вкус картошки! — выдала насмешница, но окушка приняла, голову отделила от туловища, распотрошила, кишки вывалила на газету — и бултых в кипяток. — Варись, рыбка, не мала, не велика. Восхваляй умельца-рыбака.

— Та-а-нь! — протянул я просительно, понимая, что еще минута, и забуду собственные строки.

И... забыл. Принялся заново сочинять. Но заново не получалось столь же складно, как в первый раз.

— Не мучайся! — сказала мне Таня. — Иди к столу. Кушать подано.

Стол — такой же лист газеты, здесь хлеб, плавленые сырки в серебристой фольге, кусок докторской колбасы, имеющей свойство зеленеть от обиды, что не съеден с ходу, в один присест. И... да-да — сегодня, после соревнований можно! — бутылка сухого вина по имени рислинг и перочинный ножик со штопором.

— Уже гуляем? — Таня, размешивая ложкой пахучее варево, обернулась ко мне от костра. — Или ждем уху?

— Уха и без нас сварится. Но ты закрой глаза, пока я разливаю.

— Чего так?

— А так!

— Сюрприз?

— Закрой глаза и увидишь!

Таня закрыла глаза, а я, кинув на дно стакана купленные в ювелирном магазине сережки, поспешно разлил вино и под стеклянный переэвон позвал на пенек «подружку дней моих печальных».

— Твоя порция.

— А где же сюрприз?

— Пей и не подавись!

Таня догадливо посмотрела стакан на свет.

— О, там что-то есть!

— Пока не выпьешь, не узнаешь — что.

— А вот и выпью! — разохотилась девушка.

И выпила. Но не взглот, иначе подавится. А медленно, одним, вторым, третьим глотком, чтобы придержать языком скользнувшие в рот сережки.

— Боже мой, какая красота! Можно примерю?

— А ушки тебе уже прокололи?

— Прокололи.

— За чем же дело?

Действительно, дело было лишь за словами. Ибо только за ними Таня, да и я — чего кривить душой? — могли скрыть свое полудетское смущение. Она из-за получения подарка. Я из-за того, что его преподнес.

— Наверное, всю зарплату угрохал?

— Не всю. Как видишь, и на вино с закуской осталось.

— Ой ты, гусик с гуськой! Кавалер с закуской!

— Ты за меня замуж пойдешь? — вдруг спросил я, совсем неожиданно и для себя самого.

— Ты еще под стол пешком ходишь! — засмеялась Таня. — Подрасти сначала...

Люди учатся на своих обидах.

Больше я столь опрометчивых предложений не делал. И моя возлюбленная вместо загса отправилась в МГУ, где следы ее затерялись.

Сколько лет прошло с тех пор, сколько лет... И вот — «на кухонном столике вино, ломтик сыра, кофе и печенье». А на стенах мои картины,

черно-белая графика, имеющая свойство магнетически притягивать к себе зрителя.

Впитывай их, Таня. Проникайся ими. Они лечат душу и спасают разум. Завтра-послезавтра я отведу тебя на свою персональную выставку в Дом художников. Там ты впервые увидишь того, кого я называю Аба-мелех — папа-царь, что созвучно твоей девичьей фамилии Аба-мелек.

Из Риги я уезжал в Израиль боксером, журналистом и писателем. В Израиле внезапно, словно так было кем-то предначертано, стал еще и художником. Ровно в сорок лет — мистический возраст, согласно еврейской традиции. И ныне, вновь каким-то мистическим образом, был включен в список из ста пятидесяти художников мира, которым предстояло иллюстрировать Псалтырь — книгу псалмов царя Давида, издаваемую на иврите.

Мне выпало дать свои, я бы сказал, «визуальные ассоциации» к самому большому и значительному по смыслу псалму, 118-му. В нем из глубин текста всплывает, заслоняя все, нечто невероятное: *«Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои»*. Псалом, 118. Стих 134.

Удивительный стих! Он и стал для меня, Таня, ориентиром при вхождении в лабиринт мыслей и чувств человека, жившего за тысячи лет до нас, моего предка по семейным преданиям, которого в нашем доме испокон веков называют Аба-мелех.

Это ты увидишь воочию. Это ты поймешь, когда я поведу тебя на свою выставку в иерусалимский Дом художников.

Отступление третье

Иерусалимский журнал, №7, 2001

Григорий Островский, доктор искусствоведения

«Гаммеризм»¹ Ефима Гаммера»

<http://www.antho.net/jr/7.2001/14.html>

Как человек становится художником, этого не знает никто: говорят, на роду написано, а кто и зачем написал, неизвестно. Но почему он именно такой, а не иной, можно понять, хотя и не всегда; к тому же умозаключения остаются на уровне догадок. Признаюсь, меня Ефим Гаммер своей

¹ В энциклопедии современных израильских художников его художественный стиль так и назван «гаммеризм». См. «Лексикон», Тель-Авив, издательство «Акад», 1994 (на иврите и английском).

непредсказуемостью нередко ставит в тупик. Его путь в искусстве неординарен и парадоксален, но, по-видимому, так и положено поэту — вылаиваться из общего ряда тогда, когда этого никто не ожидает.

Похоже, что и сам Гаммер был удивлен, ощущив, что он — художник. Поэт, прозаик, журналист, автор нескольких книг, боксер (чемпион Израиля, а ранее — Латвии)... Все это так, но вдруг стать художником?

По его словам, озарение пришло свыше: «Сижусь дома, пишу стихи. В час ночи распахнулась дверь, и вошел великий художник — имя его не назову. Сказал: «Ты должен рисовать» — и исчез. С тех пор и рисую». Так ли это было или не совсем так — какая разница, если правда художника неотделима от его воображения, а фантазия — от реальности. Куда важнее результат: Ефим Гаммер, — а было ему тогда сорок лет, — взял в руки карандаш и начал рисовать.

Удивительно то, что Ефим как бы перемахнул через ученичество и сразу стал работать профессионально: может, и впрямь чудесным образом раскрылось нечто заложенное свыше и лишь ожидавшее своего часа. Только за последние десять лет его произведения экспонировались более чем на сорока выставках — в Иерусалиме и Нью-Йорке, Токио и Париже, в Лондоне и Ницце, в родной Риге и на экзотическом острове Тасмания...

О картинах и рисунках Ефима Гаммера следует говорить как о самоценных и самодостаточных произведениях. Однако, мне кажется, еще полнее художник раскрывается в сопряжении с Гаммером — писателем и поэтом. Потому что искусство — это личность автора плюс все остальное: стиль, темы, образная система, материал и выразительные средства, техника и т. д. Но личность — то одна — неповторна и неразъемна.

Сам художник определяет свои произведения просто, непонятно и иронично: гаммеризм. Ничего этот термин не проясняет, но в нем содержится точное и важное указание на сугубо личностный, очень субъективный и индивидуальный характер творческого акта.

Привычные мерки и стандарты здесь не срываются, и, наверное, уж лучше таинственный «гаммеризм», чем очевидные неточность и приблизительность других определений. Тем не менее гармония, как известно, поверяется алгеброй, и

рациональный подход к рисункам и картинам Гаммера без особого труда вызовет воспоминания о причудливых гротесках Франсиско Гойи и аналитическом методе Павла Филонова, сюрреалистических фантазмагориях Сальвадора Дали и «сатанинском символизме» Бориса Анисфельда.

И в графике, и в поэзии Ефима Гаммера слышится эхо «серебряного века» русского искусства, в изысканную метафоричность властно вторгаются космизм Велемира Хлебникова и хаотичные ритмы дадаизма. Общим остаются универсальные качества искусства Гаммера: профессионализм в работе с материалом, графическая культура, опосредованная, а нередко зашифрованная ассоциативность образных структур, развитая фантазия, густо настоящая не столько на букве иудаизма, сколько на мистике каббалы.

Эклектичность такого рода сегодня воспринимается как один из формообразующих признаков эстетики постмодернизма. В случае Гаммера следует говорить не об эклектике, а скорее о средостенье разнородных импульсов и впечатлений — как жизненно укорененных, так и собственно художественных, органическом синтезе всего, что может и что становится жизнестроительным материалом его искусства.

Традиция прорастает в современность, в дне сегодняшнем живится память о минувшем, а провидческий дар художника отверзает день — или ночь — час грядущий, и все это перекрывается единой и неразъемной личностью автора, духовная структура которой и определяет эстетический код его искусства — вербального и визуального.

И еще ироничность — скрытая или явная, лукавство — добродушное или саркастическое, игровое начало творчества, в котором «понарошку» неотделимо от «взаправду». Подозреваю автора в склонности к мистификациям, но рискую при этом сам оказаться их жертвой...

17

Стихийное бедствие на то и стихийное, чтобы наваливаться внезапно. Вчера еще было спокойно и хорошо. Сегодня, всего час назад, было так же спокойно и хорошо. И на тебе, в самый тот момент, когда надо идти в студию, стихий-

ное бедствие! Впрочем, не такое оно и стихийное. Организовано неким изощренным в убийствах умом, разработано, словно военная операция. А результат? Результат — нулевой, если не считать распоротого на Татьяне Олеговне плаща, бледного ее лица и невольной дрожи губ.

— Что это? Зачем? Я же с миром!

— А у них война, — говорю я, растирая ушибленный кулак.

— Но я...

— Не важно — кто ты. Война!

Еще десять минут назад я сидел в машине, в своем синеньком «Атосе» корейской фирмы «Хундай». Ожидал выхода из Яффских ворот Старого города моей Тани. И от нечего делать читал вчерашнюю, пятничную, газету.

«Десятки тысяч христиан со всего мира, — читал я, — соберутся завтра, в Великую субботу, в иерусалимском храме Гроба Господня, на прилегающих улицах и площадях — в ожидании Благодатного огня, который ежегодно возгорается необъяснимым образом по молитвам православных накануне Пасхи на каменной плите Гроба Господня.

В числе паломников в храме будет пребывать и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Она доставит Святой огонь в специальных «олимпийских» лампах спейрейсом из Иерусалима в Москву, на патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется в 23.00 мск.

Все желающие также смогут получить частичку Благодатного огня прямо в аэропорту «Внуково-1», где самолет со Святой Земли приземлится предположительно в 22.30 по московскому времени».

В подверстку к этой заметке шел репортаж Ирины Бурцевой.

Ирина Бурцева

ОТ ЯФФСКИХ ВОРОТ ДО СТЕНЫ ПЛАЧА

http://world.lib.ru/i/irina_b/5101945-5.shtml

Первое впечатление, возникающее у странника, оказавшегося у Яффских ворот Старого города, — восторг, граничащий с эйфорией. Ощущение такое, будто волшебная машина времени перенесла вас на пару тысячелетий назад, в глубь веков.

Перемена атмосферы ощущается сразу за воро-

тами. Даже краски здесь другие — нереально яркие и в то же время ласково-пастельные. Небо — божественный ультрамарин, стены старинных каменных зданий излучают солнечную энергию даже зимой. Кажется, что невидимый художник расставил в центре современного мегаполиса волшебный мольберт, уверенной рукой нанес на холст изысканную мозаику окружающей Старый город стены, обозначил золотом его древний (ни с каким другим не спутаешь!) контур, после чего принялся любовно вырисовывать человеческие фигурки.

Кстати, в Старом городе пешеходы движутся совсем не так, как в раскинушемся за Яффскими воротами современном красавце Иерусалиме. Не представляю, чтобы ранним утром кому-то взбрело в голову совершить по узким улочкам оздоровительную пробежку. Время замедляет здесь свой стремительный шаг, заставляя прогуливаться, а не бежать вприпрыжку, говорить полусшепотом, а не орать в полный голос.

Дальше я не успел прочитать. Замедленное, как и было подмечено Ириной Бурцевой, время выявило в проеме Яффских ворот мою Таню, держащую в руке лампадку с Благодатным огнем. Отложив газету, я выбрался из-за руля и направился к ней, чтобы взять на радио, записать интервью о впечатлениях. Но когда очутился в нескольких шагах от женщины, вдруг, как говорится, краем глаза заметил взмах ножа.

Движение вражеской руки, отнюдь уже не замедленное.

Огненный сполох стального лезвия.

Треск разорванной материи.

Глухой стук упавшего факела со святым огнем. И неподотчетный мне самому бросок вперед.

Не знаю, каким образом я успел достать нападающего. Физически ощущение было такое, что правая моя, нокаутирующая, рука будто удлинилась на целый метр и вырубил террориста точным попаданием в челюсть. Иначе не понять, как я упредил второй удар, должно быть, уже смертельный.

Полиция скрутила араба, извинилась перед гостьей нашего города Татьяной Олеговной, записала мои данные для дачи следственных показаний и пожелала нам в дальнейшем вести себя осторожнее: хоть и православная Пасха на дворе, но враг, понимаете ли, не дремлет.

Вполне доступное пояснение, напоминающее прежнюю жизнь.

Мое счастье, что «княгиня милая моя» довольно быстро вышла из шокового состояния. Помогло то, что факелок с Благодатным огнем не погас и продолжал себе по-прежнему мерно попыхивать даже после падения на землю. А счастье всех ее родственников, что гостье Иерусалима не понадобилась врачебная помощь. У Татьяны Олеговны, как и у многих туристов из России, не было медицинской страховки. А без нее попадание в больницу — это выпадение в осадок приглашающей стороны, то бишь форменная финансовая яма, имеющая свойство с каждым койко-днем углубляться все круче. Потом и не выберешься.

Но яма, слава тебе, Господи, никому не грозила, а машина стояла на приколе «под парами». Садись — и поехали! Первая скорость, вторая, и пять минут спустя мы въезжали уже на стоянку.

Оставив в кабине порванный плащ, чтобы не привлекать внимание праздного люда, мы отправились в студию. Минут через двадцать записались. И двинулись в ресторан Дома художников.

У Татьяны Олеговны сегодня, 18 апреля, Пасха.

У меня — день рождения.

Не сегодня, правда, позавчера.

Но отмечать шестидесятичетырехлетие не возбраняется и двумя днями позже — не шестнадцать лет! Главное, есть что отмечать.

18

— Помнишь?

— Помнишь?

Мы сидели в пустом ресторанном зале иерусалимского Дома художников за столиком, поставив в вазу для цветов «олимпийский» факелок с Благодатным огнем, и вспоминали минувшее. Световые блики скользили по нашим лицам, придавая воспоминаниям какой-то волнующий оттенок, исповедальности, что ли...

Жизнь так устроена, что временами лжешь сам себе. А сейчас, когда глаза в глаза, не до фальши. Что было, то было — не переписать.

А ведь было.

Это не уходит.

— Помнишь, — говорил я, — ты меня тогда, Таня, форменным образом спасла от трибунала.

— Это Вася Голдвассер спас тебя. Я ему позвонила из гостиницы, он на «губу». Ну, и тебя выпустили.

— Не сразу. А потом, когда семинар уже закончился и ты умахнула в Москву, так и не успев оставить адрес.

— В любом случае — это не год дисбата.

— А что? Мне светил год?

— Будь спок на зубок и роток! Могли дать и семь тюрьмы, если приписать к делу и попытку изнасилования. На этом настаивал тот скот Заботкин, который тебя арестовал.

— Не городи чушь!

— Так говорил Мельниченко, когда мы сидели вечером в ресторане.

— С ним?

— Не с тобой же. Он, я и Вася. Уламывали тебя освободить.

Я усмехнулся.

— Нам, рядовым труженикам войны, в ресторанах сидеть запрещалось. Вот жизнь отдавать за родную советскую власть, это — пожалуйста, в любом количестве.

— Можно подумать, у тебя несколько жизней.

— А что? И несколько! Писатель, журналист, художник, боксер. В одной жизни рижанин, в другой иерусалимец. Солдат двух армий — сначала советской, потом израильской. Вот сколько жизней, на пальцах не пересчитать.

— Позавидуешь. А у меня — всего одна, — вздохнула Татьяна Олеговна. — И отдала ее, может быть, за тебя...

— Что?

— Тебе же грозил дисбат. А то и тюрьма. Причем по моей вине. Не затащила бы тебя в гостиницу...

— «Постель была расстелена, и ты была растеряна».

— Застукали, а дело пришить... Для этого у них всегда иголка и нитка наготове. Знал бы ты, каких трудов стоило уговорить тогда в ресторане Мельниченко не давать ход делу.

— К чему это ты?

— Ни к чему.

Заметный озноб пальцев. Рука скользнула в боковой карман приталенной курточки. И выявилась с российским паспортом. Фотокарточка. Имя. Отчество. Фамилия.

Фамилия — Мельниченко.

Имя — Татьяна.

Отчество — Олеговна.

Год рождения — 1945.

— Танька! — сказал я.

— Фимуля!

— Выходит, твой Толик...

— Внук другого Толика — Толика Мельниченко.

— А что с ним?

— Афган. Смертью храбрых... Помянем?

Я подозвал официанта, попросил плоскую бутылочку водки, грамм на двести пятьдесят, и поднялся с Таней, неразлучной с Благодатным огнем, на второй этаж Дома художников, в пустующий еще зал, где были вывешены (с помощью ее внука Толика) мои картины.

— Смотри...

Но говорить мне ничего и не требовалось. Ноги повлекли Таню к центральной работе, выставленной на противоположной от входа стене.

— Что это? — спросила она, будто узнавая какие-то родные черты в образе человека, сидящего под присмотром всевидящего Божественного ока у странного телеэкрана с изображением земной поверхности.

— Аба-мелех.

— Абамелек? При чем тут моя фамилия?

— Аба-мелех. Папа-царь.

— Царь Иудейский? — догадалась Таня. — Но так называли Иисуса Христа. Почему же он похож на моего Толика?

— Мужа или внука?

— На обоих.

— Он похож на всех людей, живущих на земле. Это же царь Давид, наш Аба-мелех.

— И Иисус Христос? Он ведь тоже из рода царя Давида.

— Таня, давай помянем твоего мужа...

Я откупорил плоскую бутылочку водки. И мы сделали по одному, второму, третьему глотку.

За помин души.

Благодатный огонь, взятый из Храма Господня и мерно мерцающей в факеле, внезапно, будто по приказу свыше, невероятно ярким светом озарил все пространство галереи. И шаровая молния, отделившись от него, застыла, тихо покачиваясь, у лица царя Давида, такого похожего на каждого из людей нашей многострадальной Земли.

Иерусалим, 6 июня 2009 года

□

Ефим ГАММЕР —

прозаик, поэт, журналист, художник.

Член союзов писателей, журналистов, художников Израиля и международных союзов журналистов и художников ЮНЕСКО.

Лауреат международной премии «Добрая лира», национальной Российской литературной премии «Золотое перо Руси»,

Российского литературно-журналистского конкурса.

Автор книг: «В прицеле», «Русский батальон», «Магрмор»,

«Танцы на перевернутой пирамиде», «Один — на все четыре родины» и др.

Романы, повести, рассказы, эссе, стихи публиковались в израильских, российских, западноевропейских, американских литературных журналах, альманахах, сборниках.

